СУММА ПСИХОАНАЛИЗА

Том X

ПРЕДИСЛОВИЕ

В данном томе серии электронных книг «Сумма психоанализа» представлены статьи советских исследователей, опубликованные в 90 – х годах XX века.

Пользуясь благоприятной возможностью выражаю благодарность А.М.Боковикову, А.Е.Иванову, Ф.Ф.Ильясову и А.Н.Крылову за оказанное техническое содействие.

Виктор Овчаренко

СОДЕРЖАНИЕ

Пружинина А.А., Пружинин Б.И.	Из истории отечественного психоанализа (Историко-методологический очерк)	**4**
Белкин А.И., Литвинов А.В.	К истории психоанализа в Советской России	**31**
Бибихин В.В.	Человек Моисей и монотеистическая религия (Предисловие к книге)	**49**
Зимовец С.Н.	Пушкин: толкование сновидений	**55**
Эткинд А.М.	Эрос невозможного. История психоанализа в России (Фрагмент)	**61**
Асмолов А.Г.	На перекрёстке путей к изучению психики человека	**102**
Медведев В.А.	Анализ структур коллективного бессознательного современного российского общества применительно к институту президентской власти	**112**
Ромашкевич М.В.	Детоубийство и нарциссизм	**146**
Сироткина И.Е.	Частные психиатрические лечебницы и санатории и начало психотерапии в России	**161**

Из истории отечественного психоанализа

(историко-методологический очерк)

А. А. Пружинина, Б. И. Пружинин

НАЧАЛО

На рубеже 60–70-х годов в нашей психиатрической, психологической и соответствующей философской литературе отчетливо обозначился осторожный, не очень систематический, но достаточно устойчивый интерес к феномену «бессознательного психического». Вышла монографии Ф. В. Бассина «Проблема бессознательного» (М., 1968). Оживилась работа школы Д. Н. Узнадзе — единственной в стране психологической школы, в поле зрения которой всегда так или иначе находились проблемы неосознаваемой деятельности. Тогда же были предприняты и первые попытки дифференцированно рассмотреть «западный» психоанализ — совокупность психотерапевтических, психологических и философско-психологических концепций, интерпретирующих феномен бессознательного на базе или в контексте фрейдовских идей. О том, однако, что еще в 20-е годы у нас существовали собственные психоаналитические течения, никто тогда не вспоминал. По крайней мере, с конструктивными целями.

Не вспомнили об этом обстоятельстве и в 70-е годы, хотя в этот период многое было сделано для того, чтобы избавиться от склонности к «разоблачительным» декларациям и, в частности, преодолеть оценки психоанализа, прочно укоренившиеся еще с 30-х годов. Этот очистительный процесс продвинулся тогда настолько далеко, что наши психологи, психиатры и философы совместными усилиями сумели обеспечить проведение в стране крупнейшего научного мероприятия — Международного симпозиума по проблеме неосознаваемой психической деятельности (г. Тбилиси). Это событие и публикация сопутствующих материалов — 4 тома докладов[1] — стало действительно вехой на пути избавления от застывших схем и губительной для любой науки самоизоляции. Казалось даже, что событие это не только сделало невозможным возврат к старому, но наконец-то открыло широкие перспективы теоретической и практической работы в новом для нас направлении.

Ожидания, однако, сбылись лишь отчасти. Действительно, сегодня мы практически не встречаем в отечественной литературе ни простого отрицания идеи бессознательного психического, ни огульных негативных оценок психоаналитической трактовки этой идеи. Однако и никаких серьезных исследовательских программ в данной области в отечественной психологии предложено не было. Для верного понимания сложившегося у нас после Тбилисского симпозиума положения дел следует иметь в виду, что этот симпозиум вызвал несоизмеримо больше откликов в зарубежной печати,

[1] См.: Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 1978–1983, т. I–IV.

нежели в отечественной: только во Франции перечень положительных и отрицательных публикаций, имеющих отношение к симпозиуму (во время его проведения и сразу же по его окончании), включал более сотни наименований, и был на порядок выше, чем в стране-организаторе, А когда в 1980 г. в Новом Орлеане (США) открылся международный семинар, по существу продолживший тему Тбилисского симпозиума, — советских представителей на нем не было вообще.

Впрочем, ту, десятилетней давности, ситуацию можно объяснить некоторыми привходящими для отечественной науки обстоятельствами. Сложнее это сделать применительно к ее сегодняшнему дню, ибо сегодня такого рода обстоятельства вроде бы отсутствуют, а между тем ситуацию, складывающуюся вокруг психоаналитической тематики, трудно определить иначе как двусмысленную. С одной стороны, нельзя сказать, что сегодня отечественная психология и психиатрия совсем обходят эту тематику. Но вместе с тем публикации по проблеме бессознательного (так или иначе рассматриваемой в контексте фрейдовской концепции) появляются лишь на периферии сложившихся направлений исследования. И работы эти носят как бы маргинальный характер, хотя интерес к проблеме у психологов и практикующих психиатров огромен. Ведь отдельные элементы психоаналитических методик давно и прочно вошли и у нас в повседневную терапевтическую практику. Да и в теории теперь уже никто не решается оспаривать, что именно «психоаналитическая трактовка бессознательного представляет собой наиболее яркую и стройную систему представлений в истории развития идей о бессознательном, сформировавшуюся в русле клинического подхода»[1].

И тем не менее создается впечатление, что необходимостью осмысления соответствующей реальности озабочены скорее философы, нежели психологи и психотерапевты. Во всяком случае, опубликованные в 80-е годы монографические исследования (хороши они или плохи) носят по преимуществу философский характер[2]. Лишь в самые последние годы в собственно психологических изданиях появились публикации по психоаналитической тематике и сообщения о вселяющих надежду научных мероприятиях[3].

---

[1] *Иосебадзе Т. Т., Иосебадзе Г. Ш.* Проблема бессознательного и теория установки школы Узнадзе. — В кн.: Бессознательное: природа, функции, методы исследования, т. IV, с. 41.

[2] См., например: *Велиев Г. Н.* Проблема бессознательного в философии и психологии. Баку. 1984; *Дмитриев А. Н.* Философский анализ проблемы бессознательного. Саратов, 1985; *Попова М. А.* Фрейдизм и религия. М., 1985; *Попова Н. Г.* Французский постфрейдизм. М., 1986; *Руткевич А. М.* От Фрейда к Хайдеггеру. М., 1986; *Кельнер М. С., Тарасов К. Е.* «Фрейдо-марксизм» о человеке. М., 1989; *Лейбин В. М.* Фрейд, психоанализ и современная западная философия. М., 1990.

[3] Назовем прежде всего научно-методическую конференцию, проходившую на факультете психологии МГУ (см.: *Ждан А. Н., Тихомиров О. К.* Состояние и перспективы развития истории отечественной психологии. — «Вестн. Моск. ун-та. Сер. Психология», 1987, № 3 и «Круглый стол», организованный журналом «Вопросы психологии» (см.: Перестройка психологии: проблемы, пути решения. — «Вопр. психол.», 1988, №№ 1–5); в октябре 1989 г. философы и психологи провели совместное заседание, посвященное 50-летней годовщине со дня смерти З. Фрейда.

И все же в целом ситуация в этой области исследований (а еще более в сфере приложений) выглядит весьма удручающей. Целый пласт психической реальности, фактически уже освоенной и в мировой и в отечественной психиатрической практике, как бы и признается, но и не принимается. Причем эта ситуация вряд ли может быть теперь дате отчасти объяснена простым указанием на существовавшие когда-то административно-идеологические запреты. Сегодня уже отчетливо видно, что наша психологическая теория просто не обнаруживает эффективных концептуальных средств для позитивного исследования соответствующей реальности. А это значит, что дальнейшее движение отечественной психологии (по крайней мере в данной области) возможно лишь на пути радикальной критико-рефлексивной переоценки ее концептуально-методологических оснований.

Выполнение этой критико-рефлексивной работы, как и позитивное развитие психологической теории — в значительной мере дело самих психологов и психотерапевтов. Нам представляется, что такого рода работа уже началась в рамках отмеченных выше публикаций и мероприятий. Но при этом важное значение приобретает и прямое обращение к методологической проблематике, в частности, обращение к опыту того уникального периода в развитии советской психологии, когда психоанализ занимал у нас достаточно видное место.

Правда, период тот, по историческим меркам, был довольно кратким: речь, строго говоря, может идти лишь об одном десятилетии — о 20-х годах. Уже в середине 30-х произошла переориентация на совсем иные стандарты, где психоанализу места не было и установившаяся затем исследовательская «парадигма» безраздельно господствовала до 60-х годов. Однако этот краткий период вместил в себя очень многое. Он охватывает признание, расцвет и экспансию психоанализа, шумные баталии вокруг основных психоаналитических идей и время заката, исчезновения психоанализа — события и обстоятельства, сделавшие невозможными дальнейшее существование этого направления психологической науки. Причем последний временной отрезок представляет сегодня тем больший интерес, что, в отличие от многих других направлений отечественной науки, психоанализ именно исчез как психологическое направление, а не пал жертвой прямого вмешательства внешних для науки сил.

Никто из отечественных психоаналитиков, насколько нам известно, не пострадал именно за свои психоаналитические взгляды. Даже признанный

Среди статей методологического характера: *Егоров Л. А*. Насущные задачи перестройки психологической науки. — «Психол. журнал.» 1988, № 4; *Петровский А. В*. Некоторые страницы истории психологии — тридцатые годы. — «Психол. журнал.» 1988, № 4; *Радзиховский Л. А*. Дискуссионные проблемы марксистской теории в советской психологии. — «Вопр. психол.», 1988, № 6; его же. Исторический смысл психологического кризиса. — «Вестн. Акад. наук», 1989, № 9; *Слуцкий В. М*. Современное состояние детского психоаналича. — «Вопр. психол.», 1988, № 5.

Кроме того, нельзя, конечно, не отметить такое событие, как создание «Психоаналитической ассоциации СССР» (1989).

лидер послеоктябрьского психоанализа А. Б. Залкинд, фактически лишенный к середине 30-х годов возможности как-то влиять на развертывание исследований в области психологии и психиатрии, был отстранен не за свою психоаналитическую активность, а за пропаганду педологии. Собственно, к середине 30-х годов психоанализа практически уже не было и большинство его сторонников (таких, например, как ученый секретарь образованного в 20-е годы Психоаналитического общества А. Р. Лурия или профессор Б. Э. Быховский) занимались разработкой совсем иной проблематики. Что же касается тех уничтожающих, в буквальном смысле слова, характеристик, которыми до недавнего времени наделялось у нас фрейдовское учение, то они были по большей части отзвуками значительно более поздних идеологических демаршей 40–50-х годов, ритуальные цели которых лишь весьма косвенно имели в виду собственно отечественный психоанализ.

Короче, психоанализ у нас перестал существовать раньше, чем были осознаны причины для его идеологического осуждения и прямого административного запрета. Эта особенность его судьбы уже сама по себе заслуживает внимания историков и философов науки. Но еще более важным нам представляется выяснить причины, которые, судя по всему, действуют и сегодня в отечественной психологии, мешая развертыванию психоаналитических исследований. Во всяком случае, обращение к истории позволяет хотя бы отчасти пролить свет на ту странную ситуацию, в которой психоанализ находится сегодня у нас.

ПСИХОАНАЛИЗ В РОССИИ: ПУТИ ОСВОЕНИЯ

В отличие от Франции и даже Австрии, где в ходе распространения психоанализа происходили шумные баталии, отечественная наука быстро и без особого шума освоила соответствующие концепцию и терапевтические методики. Но отсутствие шумных дискуссий отнюдь не означало, что отечественная психиатрия и психология не отличались особой методологической разборчивостью, а культурное сознание русского общества было нечувствительно к поднятым Фрейдом вопросам. Причина была в ином. Просто психоаналитические идеи с самого начала обрели в России именно тот интеллектуальный и культурный статус, который только и допускал их безболезненное усвоение: психоанализ осваивался у нас прежде всего как инструментальная терапевтическая теория и лишь затем, постепенно и осторожно, стал восприниматься как общепсихологическая концепция, имеющая к тому же значение для культуры в целом.

Русская академическая психология и психиатрия первоначально реагировала на психоанализ примерно так же, как официальная наука Германии или Франции. Петербургская школа Бехтерева и московская школа Корсакова (позднее и Сербского) отнеслись к идейному содержанию психоанализа весьма сдержанно. А такое респектабельное научное сообщество, как «Психологический семинарий» Челпанова, просто игнорировало фрейдовское учение: с 1907 по 1913 гг., за все шесть лет

работы этого семинара, преобразованного в 1911 г. в Психологический институт, лишь единожды было заслушано сообщение, специально посвященное учению Фрейда[1]. Однако идеи Фрейда проникали и помимо академических школ — они находили для себя благоприятную почву в среде земских врачей-психиатров. Именно лечащие врачи заинтересовались концепцией, по самой сути неотделимой от практических приложений и в собственно медицинском, и в социально-терапевтическом плане. Врач-психиатр Н. А. Вырубов довольно быстро сгруппировал вокруг себя молодых и энергичных специалистов-практиков — Ю. Каннабиха, Л. Белобородова, А. Залкинда, Н. Осипова и уже в 1910 году приступил к изданию психоаналитического (в своей основе) журнала. Направление сформулировалось буквально за несколько лет.

На ситуации, которая складывалась внутри научного сообщества отечественных психологов и психиатров, сказывались, естественно, и особенности общекультурного российского контекста. В частности, было более сдержанное что ли, чем на Западе, отношение к сексу и эротике. В начале века это отношение только лишь начинало меняться. Мы не хотели бы вскользь обсуждать эту сложнейшую тему, но не отметить данное обстоятельство нельзя, ибо оно, конечно же, определило и «врачебно-терапевтические» рамки усвоения психоанализа, и даже характер его интерпретаций, во всяком случае в таком центральном для психоанализа вопросе, как роль сексуальности.

Поскольку психоанализ в России принимался по преимуществу врачами-практиками, его идейное содержание представало и в глазах просвещенной публики, и в глазах специалистов прежде всего как концептуализированная определенным образом врачебная практика. В свою очередь, внутри психоанализа эта инструментальная трактовка оборачивалась своеобразным методологическим либерализмом и идейной открытостью (хотя, конечно же, не произволом). Несмотря на распространенность идей и методов, в стране так и не сложилось школы, которая бы последовательно применяла и развивала концепции З. Фрейда. Даже самые горячие сторонники психоаналитических идей и методов всегда стремились теоретически интегрировать фрейдовскую теорию в концептуальный контекст тех или иных течений отечественной психологии. Именно поэтому, надо полагать, усвоение психоанализа не было сопряжено с какими-либо серьезными идейными или организационными трудностями. Во всяком случае, Русское психоаналитическое общество без особых сложностей конституировалось уже в 1910 г., тогда как Парижское — лишь в 1926 г. (и то усилиями прежде всего иностранных последователей и учеников Фрейда).

К концу первого десятилетия XX века сообщества ученых-психоаналитиков складываются в таких крупных научных центрах, как

[1] См.: Психологические исследования. Труды Психологического Института им. Л. Г. Щукиной при Императорском Московском университете. Т. 1. Вып. 1–2. М., 1914.

Москва, Казань, Харьков, Одесса. А уже через несколько лет, перед войной, происходит на первый взгляд незначительное, но весьма показательное событие: одним из ассистентов В. П. Сербского в его клинике становится Н. Е. Осипов — практикующий врач-психоаналитик. В 1911 г. Русское психоаналитическое общество направляет своих представителей в Веймар для участия в работе 1 Международного психоаналитического конгресса. В 1913 г. Альфред Адлер дает согласие войти в состав редколлегии издававшегося с 1910 г. под редакцией Н. Вырубова журнала «Психотерапия». Журнал устанавливает тесные контакты с Юнгом, Штекелем, Дюбуа, Ференци и с редакцией «Zentralblatt fьr Psychoanalyse» (редакторы А. Адлер и В. Штекель); идет интенсивный взаимный обмен информацией, постоянно реферируются отдельные статьи. Кроме того, регулярнейшим образом переводятся статьи ведущих западных психоаналитиков и широко освещаются научные и практические мероприятия. В «Психотерапевтической библиотеке» под редакцией Н. Е. Осипова и О. Б. Фельцмана и в «Библиотеке» журнала «Психотерапия» под редакцией Н. А. Вырубова выходят отдельные произведения Фрейда и его последователей. В результате этих усилий практически все выходившие в то время работы Фрейда очень быстро становятся доступными русскому читателю.

Появлялись, естественно, и работы, отражавшие результаты отечественных исследований. Российский психоанализ не претендовал в те годы на особую оригинальность — это были годы ученичества, и никто не стеснялся учиться. Исследовательские работы не были особенно многочисленны. Как правило, они были посвящены анализу социальных проявлений бессознательного психического (не «коллективного бессознательного»).

Небольшое отступление. К началу века в психологии и психиатрии в качестве базовой методологической альтернативы рассматривалась оппозиция «субъективных» и «объективных» подходов к психике. Эта оппозиция в своеобразной форме выражала внутреннюю противоречивость науки о психике как науки гуманитарной. «Субъективную» («субъективистскую») психологию представляли главным образом течения, ориентированные на самонаблюдение, на интроспекционистские методы; «объективную» («объективистскую») — направления бихевиористской, физиологической ориентации, определившейся у нас в основном в связи с работами Сеченова. Психоанализ, заметим, никак не вмещался в рамки этой дихотомии. Вопрос о том, какой метод предпочтительнее — объективный или субъективный — в общей форме психоанализом не ставится: «все зависит от обстоятельств». Первоначальный интерес отечественных психологов и психиатров к медицинской, по преимуществу, стороне психоанализа акцентировал в нем и без того достаточно сильные «объективистские» установки. Причем этот интерес как бы заслонял собой столь же характерные для психоанализа «субъективистские» представления о

внешней жизненной среде как условии раскрытия психических потенций, о психической болезни как следствии подавления внутренних импульсов и т.д. Однако инструментально-прикладная трактовка психоанализа сама по себе отнюдь не обязательно акцентирует именно «объективистские» его аспекты. «Объективистское» истолкование психоанализа связано с пониманием его как практики по преимуществу медицинской, индивидуально-врачебной. Усиление же социокультурной ангажированности психоанализа, превращающее его в разновидность социальной практики — в тип социально-психологической терапии, напротив, акцентирует как раз «субъективистские» пласты его содержания. Очевидно, социально-терапевтическая ориентация столь же органично присуща психоанализу, как и медицинская; психоанализ по сути своей невозможен вне обоих этих практических измерений. Но их удельный вес может варьировать в достаточно широких пределах. В отечественном психоанализе смещение акцентов от «объективизма» к «субъективизму» в полной мере проявилось позднее, в 20-е годы, когда особую актуальность приобрели именно социально-практические возможности психоанализа.

Надо заметить, что смысл и методологическая значимость социально-терапевтической координаты была осознана очень быстро: «Мы приходим к тому выводу, — замечал Н. Е. Осипов, практикующий врач-психиатр, фигура весьма известная, — что практическая психиатрия есть не естественно-научная, а культурно-научная дисциплина»[1]. Причем такая «социологизированная» позиция заметно отличалась от установок самого Фрейда. Фрейд даже в случаях обращения к социальным и культурным реалиям сохранял за сексуальностью функцию теоретического основания психоанализа. В работах же отечественных исследователей, посвященных анализу таких явлений, как сценический страх, тексты писателей, сектантство, оговорки, выявленные в ходе политических дебатов в Думе и пр.[2], явно проступает тенденция не замыкаться в объяснительных апелляциях на теме сексуальности. Н. Е. Осипов подчеркивал: принимая взгляды Фрейда на психические механизмы вытеснения, не следует вместе с тем думать, что «вытеснению подлежат только сексуальные чувствования и что только сексуальный вытесненный материал обусловливает собой продукции психоневрозных симптомов»[3]. Продуктивность такого рода концептуальных изменений в интерпретации психоаналитических идей считал нужным подчеркнуть, например, Бехтерев[4], хотя связанный с социально-терапевтическими приложениями психоанализа «субъективизм», конечно же, вызывал его негативные оценки[5].

Расширение интерпретативной базы психоанализа с самого начала протекало как резонирующий, самоусиливающийся процесс, ибо в свою очередь

---

[1] *Осипов Н. Е.* Мысли и сомнения по поводу одного случая «дегенеративной психопатии», — «Психотерапия», 1912, № 1–6, с. 207.

[2] См., например, тематику статей по психоанализу в журнале «Психотерапия» за 1910–1913 гг.

[3] *Осипов Н. Е.* О психоанализе. — «Психотерапия», 1910, № 3, с. 116.

[4] *Бехтерев В. М.* Основы рефлексологии. Пг., 1917, гл. II.

[5] См. там же.

и во все возрастающих масштабах вело к включению теории и практики психоанализа в сферу социально-психологических коллизий, где формируются конкретные оценки жизненно-практической и социальной роли тех или иных психических явлений и болезней. В предреволюционных работах российских психоаналитиков достаточно много социальных намеков, коннотаций, прямых обращений. При этом можно увидеть, как в них на передний план выступают прежде всего те концептуальные элементы, которые выражают определенную независимость психики от внешних обстоятельств, имманентную структурированность психической жизни индивида. Более того, в соотнесениях с внешними обстоятельствами, в оценках столкновений индивида с жизненной средой эти имманентные структуры психической жизни индивида представлялись психоаналитиками как масштаб оценки социальных условий. В таких случаях вектор критических оценок обычно направляется от личности к обществу: «...так как тип невротика подходит более под... разновидность яркой индивидуальности, несколько несимметрично развившейся уже вследствие самой своей сложности, — дегенеративными приходится назвать те условия жизни, то социальное и воспитательное болото, которое систематически мешает проявлению этих ценных теоретических потенций... Наиболее убедительные тому доказательства даст нам профилактика и психотерапия неврозов, во-первых, и дальнейшее совершенствование общих условий жизни человечества, во-вторых»[1].

Приведенное рассуждение А. Залкинда ясно демонстрирует и еще одну особенность социально-культурного измерения отечественного психоанализа: его исходные субъективистские посылки оказываются почти напрямую соотнесенными с определенной социально-идеологической позицией. Здесь можно было бы проанализировать соответствующие рассуждения Н. А. Вырубова, Н. Е. Осипова, Л. Я. Белобородова, И. А. Бирштейна, а также многих других российских земских врачей, психиатров и психологов, так или иначе принимавших идеи психоанализа и так или иначе затрагивавших в контексте этих идей социально-культурную проблематику, и во всех этих рассуждениях вы могли бы проследить, как психоаналитические представления об имманентных структурах психики прямо выступают в качестве основы для личностной оценки внешних социальных условий. Медицинская терапия при этом свободно трансформируется в социальную позицию и притом с явно выраженной критической установкой по отношению к социальной среде.

Видимо, любой психоаналитик (как, впрочем, и любой честный психиатр) в той или иной мере является критиком социальной реальности, поскольку он разделяет точку зрения личности и поскольку с этой точки зрения личность всегда, так или иначе, деформирована внешней реальностью. В отечественном дореволюционном психоанализе

[1] *Залкинд А. В.* К вопросу о факторах, сущности и терапии психоневрозов. — «Психотерапия», 1913, № 1–6, с. 214–215.

теоретические возможности для такой позиции в силу отмеченных обстоятельств открывались весьма широкие. Однако усваивался психоанализ, повторяем, как концепция прежде всего инструментальная, терапевтическая, медицинская, имеющая конкретную сферу приложения. Именно поэтому вполне конструктивно, хотя и не без проблем, соотносились с проникающим в Россию психоанализом различные направления психиатрии, а публикации по психоаналитической тематике можно было обнаружить тогда в изданиях, принадлежащих к самым различным психологическим направлениям[1]. Во всяком случае, никаких следов сколько-нибудь заметного принципиального сопротивления психоанализу в этих изданиях нам обнаружить не удалось[2].

Представляется, что после Октябрьского переворота, в условиях новой социально-политической и идеологической ситуации, психоанализ был также сначала поддержан и принят прежде всего как инструментально-медицинская концепция (с общей «прогрессивной» социально-идеологической ориентацией).

ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ: НОВЫЙ ВИТОК В РАСПРОСТРАНЕНИИ ПСИХОАНАЛИЗА

В 1929 году, излагая в Комакадемии свои взгляды на итоги и перспективы развития отечественного психоанализа, А. Б. Залкинд счел возможным выделить в его семилетней послеоктябрьской истории три вполне самостоятельных периода.

Первый этап — просветительский (1922–1923): в этот период главным образом издаются и переиздаются вышедшие до революции труды Фрейда. Залкинд, заметим, предельно сдержан в оценках этой работы — он лишь выражает недовольство отсутствием серьезных комментариев и напоминает, что первые критические статьи принадлежали ему. Мы же от себя добавим, что особый авторитет тогда приобрела «Психологическая и психоаналитическая библиотека» под редакцией И. Д. Ермакова. Многие работы Фрейда и его учеников увидели свет именно благодаря подвижнической

---

[1] См., например: «Вопросы психиатрии и неврологии», «Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова», «Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма» (с 1912 г. — «Вестник психологии, криминальной антропологии и педологии»), «Неврологический вестник», «Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии», «Современная психиатрия», и др.

[2] Это обстоятельство мы считаем необходимым подчеркнуть еще раз, поскольку в советской литературе еще в начале 50-х годов сложилась точка зрения, будто противодействие психоанализу в России в начале века было очень сильным, даже ожесточенным (см., например: *Иванов В. И.* Критика фрейдизма в трудах отечественных психиатров. — «Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова», 1953, т. 53, вып. 7). В 50-е годы эта точка зрения обосновывалась ссылкой на психиатрические источники, ныне — на особенности русской культуры начала века. Содержательно обсуждать здесь ссылки на отечественную культуру в целом возможным не представляется. А вот что касается ссылок на источники, то мы полагаем, что данная позиция вообще и позиция В. И. Иванова в частности, в значительной мере обусловлена специфическим способом цитирования и истолкования источников (то есть исходят не из фактических, а из идеологических установок). Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться прямо к соответствующим местам приводимых источников (см., например: *Фельцман О. Б.* К вопросу о психоанализе и психотерапии. — «Современная психиатрия», 1909, № 5–7; *Руднев В. И.* Психология сновидений. — «Неврологический вестник», 1915, т. XXII, вып. 2 и др.).

деятельности Ермакова и М. Вульфа. И когда в 1923 году конституировался Государственный психоаналитический институт, его возглавил (вплоть до закрытия в 1925 г.) опять же И. Д. Ермаков[1].

Затем, констатирует Залкинд, приходит время резких нападок на фрейдизм (вплоть до лозунгов «выжигать все элементы фрейдистских построений каленым железом из марксизма в СССР, из коммунистической партии»). Что касается сути этой критики, то весьма примечательна, на наш взгляд, статья В. Юринца, где, в частности, говорится, что «социология фрейдизма является самой слабой частью системы психоанализа, она полна прямо чудовищных противоречий. Кроме того, она является выражением слепой, бешеной ненависти по отношению к марксизму»[2].

Довольно скоро, однако, идеологическая ситуация вокруг психоанализа вновь начинает смягчаться, так что конец 20-х годов (третий период) Залкинд характеризует как время спокойной деловой критики.

И действительно, если судить по тону публикаций (имея в виду, конечно, принятую тогда манеру полемики), третий период был относительно спокойным. Но завершился он, во-первых, довольно скоро, и завершился, во-вторых, исчезновением психоанализа. Самое начало 30-х годов — время нешумного, но радикального исчезновения даже признаков работы в этом направлении. Последний по существу серьезный всплеск активности отечественных психоаналитиков — так называемый «поведенческий» съезд (1930), последнее серьезное обсуждение перспектив психоанализа — дискуссия по реактологической психологии (1930), последняя крупная переведенная работа Фрейда — «Будущность одной иллюзии» (1930). Так что когда в 1932 г. на волне укрепления «большевистской бдительности» (поднятой известным письмом Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма») психоанализ был объявлен «троцкистской контрабандой»[3], нести ответственность за эту «контрабанду» в общем-то было уже некому. Продолжали работать в психологии Залкинд, Лурия, Франкфурт и другие психологи и психиатры, но психоанализа как отдельного течения в советской психологии уже не было. Более того, в той самой статье, где говорилось о «троцкистской контрабанде», Залкинд и Франкфурт подверглись жесткой критике *вместе с* Дебориным за отсутствие «подлинной борьбы с механистическими извращениями марксизма и идеалистическими течениями[4].

Далеко не все психоаналитики принимали приведенные выше залкиндовские оценки тех или иных периодов истории психоанализа. Так, И. Д. Ермаков уже в 1925 г. считал, что время ожесточенных нападок на психоанализ прошло, и на первый план, по его мнению, должна выдвинуться задача

---

[1] См. подробнее: «Психологический журнал», 1989, т. 10, № 2, с. 156–159.

[2] *Юринец В*. Фрейдизм и марксизм. — «Под знаменем марксизма», 1924, № 8–9, с, 75.

[3] Основанием для этого послужило несколько благосклонных замечаний Троцкого в адрес психоанализа (см., например: *Троцкий Л.* Литература и революция. М., 1924).

[4] *Таланкин А*. Против меньшевиствующего идеализма в психологии. — «Психология», 1932, № 1, с. 39; см. также: *Шемякин Ф., Гершенович Л.* Как Троцкий и Каутский ревизуют марксизм в вопросах психологии. «Психология», 1932, № l–2.

практического применения тех или иных выводов психоанализа. Чуть позднее И. Перепель в одной из своих работ весьма скептически отнесся к подобным заявлениям Ермакова, полагая их скорее «оптимистичными, нежели реалистичными». Поводом для такого утверждения послужили резкие критические замечания в адрес психоанализа со стороны известного невропатолога М. Аствацатурова, изложенные в его работе «Психотерапия и психоанализ» (Л., 1925). Но как бы ни разнились оценки тогдашних психоаналитиков, в них нет и намека на грядущее печально-тихое завершение судьбы столь блестящего и многообещающего направления. Причем, насколько можно судить по тогдашним дискуссиям, исчезновение психоанализа было неожиданным и для его теоретических оппонентов. Во всяком случае, такого оборота событий они тоже не предполагали.

Последние обстоятельства, очевидно, означают, что искать причины произошедшего следует в более широком идейном и практическом контексте, нежели теоретико-методологические дискуссии специалистов психологов и психиатров. Правда, в нашей историко-научной литературе представлена и иная точка зрения, согласно которой причины исчезновения психоанализа следует искать все же именно в области теоретико-методологической критики его оснований. Но сторонникам данной точки зрения приходится в этом случае признать, что сама критика выходила тогда за рамки обычной «академической оппозиции» психоанализу. Как заметил академик А. В. Петровский, «падение психоаналитических школ в Советской России связано не с усилиями этой «академической оппозиции», а с тем наступлением на фрейдизм, которое развернулось во второй половине 20-х годов в философии и психологии, и которое носило характер партийной, марксистской критики. История «академической оппозиции» Фрейду в России, как и история партийной критики психоаналитической теории... является, — на его взгляд, — еще одним свидетельством того, что разоблачить самую сущность реакционного учения Фрейда можно только на основе марксизма-ленинизма»[1].

Мы также считаем, что психоанализ исчез в результате столкновения с марксизмом, но, думаем, однако, что дело обстояло несколько иначе, чем это представлено академиком. Во-первых, мы сомневаемся в изначальной реакционности психоанализа; во-вторых, на наш взгляд, психоанализ исчез в результате столкновения не с теорией марксизма (такое «столкновение» дало позднее, например, фрейдо-марксизм), а в результате давления со стороны тогдашней «практической» марксистской идеологии. Во всяком случае, организаторы постреволюционного отечественного психоанализа не хуже своих оппонентов владели марксистской фразеологией. А вот в сфере практических установок они оказались бессильными против тех политико-идеологических ориентаций, которые утвердились во всех областях общественной практики к началу 30-х годов.

---

[1] *Петровский А. В*. Вопросы истории в теории психологии. Избр. труды. М., 1984, с. 115.

Психоанализ был готов принять самое активное участие в марксистски ориентированных исследовательских и практических программах (относящихся прежде всего к научной организации труда). Практический, зачастую утилитарный интерес скрывался за его методологическими установками. И когда один из инициаторов создания «марксистской» психологии профессор Рейснер обосновывал «необходимость психологической науки для пролетариата»[1] и, соответственно, выдвигал требование материалистического переосмысления психологии, речь у него шла по сути об инструментальном психологическом знании, способном конкретизировать исторический материализм вплоть до технических выводов и приложений. А когда, в свою очередь, психоанализ безропотно принимал такую интерпретацию собственных задач, он безболезненно вписывался в систему и получал ее поддержку.

Практически сразу после окончания гражданской войны, в начале 1923 г., в разрушенной, голодной стране собирается 1-й Всероссийский съезд по психоневрологии, где констатируется, что за прошедшие годы в данной области отечественной науки наблюдался прогресс, поднявший ее до уровня «других культурных стран». При этом, однако, отмечается и то обстоятельство, что прогресс был достигнут благодаря расширению области прикладной психологии — окрепли педагогическая психология и педология, развилась криминальная психология, сложился ряд исследовательских направлений, тесно связанных с задачами научной организации труда, в частности, психотехника[2]. Съезд фактически зафиксировал новую (принципиально иную по сравнению с дореволюционной) структуру психоневрологических исследований в стране. Хотя в работе съезда далеко не второстепенную роль играли представители традиционной «философской» психологии, в частности Г. И. Челпанов, наибольший интерес вызывали все же исследования практического толка — педология, психотехника и психоанализ. В том же году детский дом-лаборатория «Международная солидарность», работавшая под эгидой Наркомпроса и занятая в основном изучением бессознательных влечений у детей, была преобразована в Государственный психоаналитический институт[3]. А когда в январе 1924 г., через год после первого съезда, в Петрограде собрался II-й психоневрологический съезд, психоаналитическая тематика была в центре всеобщего внимания.

Постреволюционный психоанализ был представлен сразу целым рядом весьма заметных фигур (М. Вульф, И. Ермаков, М. Рейснер и др.). В новых условиях эти ученые, как правило, стремились сохранить традиции. Однако центральной и наиболее характерной фигурой постреволюционного психоанализа является, на наш взгляд, А. Б. Залкинд — «педолог, врач-психоневролог, автор работ по вопросам педологии, психологии и

---

[1] *Джемсон Л.* и коллегия и «Плебса». Очерки марксистской психологии. М., 1925, с. 7. Предисловие М. Рейснера.

[2] См.: *Эфрусси П. О.* Успехи психологии в России. Пг., 1923, с. 11.

[3] См.: «Психологический журнал», 1989, № 2.

педагогики, чл. ВКП(б). Один из учредителей общества психоневрологов-марксистов. Внимания заслуживают работы, посвященные проблемам трудового детства и сексуальной педагогики. Уклон в сторону механистического понимания учения об условных рефлексах и тяготения к фрейдизму»[1].

Область его теоретических интересов определилась до революции — но в новой ситуации иной смысл приобрели и его психотерапевтическая практика, и его теоретические установки. После революции резко меняется контингент пациентов Залкинда, он становится как бы «врачом партии»; одновременно он становится и фактическим лидером наиболее представительного терапевтически-педагогического направления.

Новая ситуация, стимулируя социологизацию психоанализа, в то же время ввела этот процесс в рамки марксистских практических программ. Всяческие попытки социологической универсализации психиатрических идей немедленно пресекались на уровне методологии. Поэтому в отечественном психоанализе, в отличие от психоанализа фрейдовского, не получили развития попытки объяснять общественно-исторические процессы действием индивидуальных психологических механизмов. Отечественные психоаналитики обращались к социальной среде, как правило, с целью прямо противоположной, а именно: чтобы с помощью апелляции к условиям общественного бытия объяснить особенности функционирования индивидуальных психических структур. В результате психоаналитические построения приобретали черты социально-гуманитарной теории, практически не выходя за рамки собственной предметности, то есть не выходя за рамки исследований психики индивида. Лишь такое направление исследований было методологически открыто. И потому большинство отечественных психоаналитиков, подобно Залкинду, апеллировало к социальной среде с целью объяснить состояния индивидуального сознания и бессознательные влечения так или иначе марксистски понятого общественного индивида. Надо сказать, что и в этой методологической ориентации психологических исследований можно усмотреть вполне достаточно редукционизма, но редукционизма особого типа. с необычным для традиционной положительной науки вектором редукции — от «низшего» к «высшему» (происходит социологизация психики и даже физиологии индивида). «Психофизиология, — настаивает Залкинд, — во много раз глубже и теснее связана с социологией, чем это мерещилось бы даже самым ярым оптимистам марксистского метода. Все новейшие завоевания физиологии, связанные с учением о рефлексах, и все последние этапы развития психологии, исходящие из активистических воззрений психоаналитиков, представляют собой совершенно непочатый и неисчерпаемый материал для глубочайшей марксистской революции внутри психофизиологии. Помимо и против воли самих авторов этих научных

[1] БСЭ, М., 1933, т. 26.

открытий, вряд ли ожидавших такого их применения, марксисты обязаны немедленно заняться социологированием психофизиологии»[1].

В середине 20-х годов А. Б. Залкинд выступил с серией программных статей по вопросам полового воспитания. Сначала появляется его статья «Половой вопрос и красная молодежь СССР», затем, разъясняя свою позицию по просьбе различных просветительских организаций, в частности московского пролеткульта, он написал очерки «О классовом подходе к половому вопросу» и «О нормах полового поведения с классовой точки зрения». Все эти выступления не остались незамеченными. Мгновенно появились рецензии (в основном критические) в «Правде» (1924, № 241; 1925, № 187; 1926, № 20), в «Известиях ЦИК СССР» (1925, № 1), в «Красной молодежи» (1925, № 1), «Книгоноше» (1925, № 42). Дискуссия в общей сложности длилась два года! В 1926 г. Залкинд соединяет все эти очерки и издает отдельным изданием «Половой вопрос в условиях советской общественности» с послесловием «Два года дискуссии по половому вопросу».

Предпринятая Залкиндом попытка выработать новую, марксистскую модель полового поведения опирается на идеологическую позицию, согласно которой нельзя в новых условиях ограничиваться старыми, узкими неврологическими толкованиями того, что происходит в «организме молодежи», то есть нельзя «подходить к ее нервно-психическим процессам исключительно с докторским молоточком и микроскопом, без *всестороннего учета совершенно нового содержания среды,* ее окружающей, без анализа внутреннего содержания ее совершенно специфических, неизвестных пока неврологии, переживаний»[2].

Собственно, эта позиция крайне незамысловата: «Октябрьская революция проделала чрезвычайно сложную ломку в идеологии масс, достаточно сложные сдвиги вызвала она и в их психофизиологии. Меняющаяся социальная среда изменяет не только сознание, но и организмы»[3]. Интересны, однако, теоретические последствия принятия этой установки. Дело в том, что социологизация психоанализа повлекла за собой существенную и вполне определенную трансформацию идей Фрейда. Залкинд, вынужденный одновременно и защищать, и критиковать фрейдовское учение, приходит к выводу, что основой фрейдизма является не половая теория, но принцип удовольствия, принцип реальности и описание процессов вытеснения, цензуры, бегства в болезнь и т.д.

Второй важной особенностью постреволюционного психоанализа была резко возросшая в нем теоретическая значимость ссылок на физиологические механизмы. Многие сторонники психоанализа, в частности Залкинд, еще до революции апеллировали в такого рода объяснениях к рефлексологии Бехтерева. Но на первом психоневрологическом съезде Залкинд настаивает уже даже не на обращении, а на соединении с рефлексологией, полагая при

---

[1] *Залкинд А. В*. Очерки культуры революционного времени. М., 1924, с. 10.

[2] *Залкинд А. Б.* Революция и молодежь. М., 1925, с. 5.

[3] *Залкинд А. Б.* Половой вопрос в условиях советской общественности. Л., 1926, с. 8.

этом, что последняя тема ценна (заметим, для марксизма), ибо позволяет перенести центр тяжести проблемы соотношения социального и биологического с отдельного человека на социальную среду, благодаря чему позволяет оперировать с «цельным» человеком, не разделенным на «фиктивные» категории «физиологических» и «психологических» явлений. Это, полагал Залкинд, как раз и позволяет соотнести рефлексологию с фрейдизмом, который, вводя в научный обиход важный социально-физиологический материал, со своей стороны раскрывает богатейшую диалектическую пластичность человеческого организма[1].

«Состав революционной среды» — вот то главное, что определяет все психофизиологические процессы в эпоху революции. Такой вывод, считает Залкинд, логично вытекает из соответствующим образом переработанных фрейдовских построений. И в этой связи он, например, считал, возможным говорить о «рефлексе революционной цели» (ссылаясь, кстати, на И. П. Павлова)[2].

«Социологизация» постреволюционного психоанализа демонстрирует нам старую истину: крайности сходятся. Когда в русле социологизации психологии преступали известный предел, совершенно безразличным становилось, имеем ли мы дело с редукцией социального к психофизиологическому или психофизиологического к социальному. И в том и в другом случае результатом будет своеобразный психоидеологический фантом, далекий не только от науки, но и от здравого смысла. Пример тому — работа Г. Малиса «Психоанализ коммунизма». Автор полагает, что «в час, когда “экспроприаторы экспроприируются”, в распоряжении общества будет все, чтобы разрешить каждому работнику полноценное удовлетворение. Удовлетворение это не будет непосредственно сексуальным. Инфантильные переживания нами вытесняются навсегда и безвозвратно. Но у каждого человека есть своя возможность претворения, сублимирования его бессознательных сил. Эту возможность даст ему коммунистическое общество со своей сменой впечатлений, работ, прав и обязанностей, коммунистическое общество, в котором, как в биологическом растворе равных единиц, каждая будет кристаллизоваться в любой форме. Величие нашего времени в том, что Коммунизм — формы жизни, при которых одинаково удовлетворены и социальные (сознательные), и личные (бессознательные) потребности человека; общественный строй, к которому биологически предопределенными дорогами двигались тысячелетиями и личность, и коллектив, — этот общественный строй вызван сейчас я исторической необходимостью»[3].

Надо полагать, что именно такого рода социально-сексуальные утопии и вызвали волну критики психоанализа, причем критики настолько резкой, что, напомним, Залкинд счел возможным маркировать этой критикой целый

---

[1] См.: *Залкинд А. Б.* Фрейдизм и марксизм. — «Красная новь», 1924, кн. 4, с. 182.
[2] См.: *Залкинд А. Б.* Очерки культуры революционного времени, с. 118.
[3] *Малис Г.* Психоанализ коммунизма. Полтава, 1924, с. 71.

период в развитии отечественного психоанализа. Вместе с тем надо заметить, что и сама эта критика носила откровенно идеологический характер.

Из рецензии Н. Карева на книгу Г. Малиса: «В Советском Союзе он (психоанализ. — *Авт*.) приобретает особую известность после перехода к нэпу, когда значительная часть наименее устойчивых мелкобуржуазных и интеллигентских попутчиков революции заколебалась в условиях возрождающегося товарного хозяйства и видимого спада, для поверхностного глаза, революционной волны. Мелкий буржуа и интеллигент, не понимая в новых условиях положительных задач строительства социалистического хозяйства, ушел в свое личное Я, в вопросы пола, найдя себе на этом пути верного проводника в лице глубоко субъективной, целиком построенной на ковырянии в душах теории Фрейда. Вокруг теории закружился какой-то дикий хоровод из протестантских попов, мистиков, психиатров, зараженных своими больными... и марксистов, не весьма твердых в марксизме и падких ко всему сенсационно-новому»[1].

И тем не менее ориентированный подобным образом анализ психической жизни человека легко превращается в общее социально-психологическое исследование деформаций индивидуального сознания «общественного человека», а психотерапевтическая практика — в тип социально-психологической терапии таких деформаций. При этом перед психоанализом, как кажется, открывались самые заманчивые исследовательские и практические перспективы, отнюдь не противоречащие марксизму, но весьма далекие от строго понятого психоанализа.

Так, например, если считать, что идеология, с точки зрения марксизма, является системой «неправильных отражений мотивов или источников человеческой деятельности» и если, кроме того, считать, что основные понятия психоанализа (вытеснение, замещение и т.д.) описывают структурные деформации сознания, вызванные отнюдь не только сексуальными переживаниями, то в объяснении процессов формирования и функционирования идеологии вполне может быть использован также и концептуальный аппарат психоанализа[2].

Любопытная попытка разработать программу исследования идеологии на базе психоанализа была предпринята А. Варьяшем. В 1924 г. он выступил в Комакадемии с докладом о концепции подготавливаемого фундаментального труда по истории новейшей философии. В качестве методологической основы историко-философских исследований он предлагал, с одной стороны, традиционный для марксизма анализ производственных отношений, а с другой — «основательный и подробный анализ обрабатывающих функций психической деятельности человека[3]. В последнем случае, полагал он, как раз и следует обращаться к психоанализу: «Поставим в предложение, в

---

[1] «Большевик», 1924, № 14, с. 122.

[2] См., например: *Фридман Б. Д.* Основные психологические воззрения Фрейда и теория исторического материализма. — В кн.: Психология и марксизм. М., 1925, с. 125.

[3] *Варьяш А*. История философии и марксистская философия истории. — «Вестник Комакадемии», 1924, № 9, с. 255.

котором Энгельс говорит об истинных побудительных причинах, движущих человека, вместо слова “неизвестный” слово “неосознанный”, и мы получим, — полагает Варьяш, — одну из основных идей новой психологии»[1]. Очевидно, однако, что подобные подстановки вряд ли могут служить сколько-нибудь серьезным аргументом в пользу использования психоанализа в объяснительных схемах марксистской истории философии. На это Варьяшу было указано сразу и очень жестко[2]. Но даже отступая от своих первоначальных взглядов под давлением критики (содержащей, между прочим, уже и термин «фрейдо-марксизм»), Варьяш тем не менее продолжал настаивать на своеобразном «соответствии» теорий Фрейда и Маркса. Он писал по поводу понятия бессознательного: «Если мы расширим и объясним его из экономических и политических причин, то получим Марксово понятие. Только надо знать, — подчеркивает Варьяш, — что не Маркс расширил Фрейдово понятие бессознательного, Фрейд сузил это Марксово понятие»[3].

Надо сказать, все эти на первый взгляд бесплодные спекуляции имели вполне серьезные последствия для отечественного психоанализа. Таким путем его концептуальные структуры как бы встраивались в один ряд с концептуальными структурами социальной доктрины марксизма, приобретая тем самым общественно-историческое измерение. В попытках представить психологические механизмы в качестве факторов, формирующих содержание человеческих представлений, с одной стороны, складывалась «историческая» (культурно-историческая, как это будет позднее названо Лурия и Выготским) трактовка психической деятельности, а с другой — внутри собственно психоанализа происходила весьма существенная перегруппировка проблематики. В центре ее оказалась проблема личности.

Что касается «культурно-исторической» трактовки психики, то сама по себе она фактически уже выходит за рамки психоанализа — это иная тема. Но можно проследить, как споры о материалистической (научной, естественнонаучной) природе психоанализа и о его месте в структуре марксистской психологии и марксизма вообще приобретали все более схоластический характер, между тем как конкретные попытки прояснить общественно-исторический смысл индивидуальных психических механизмов и структур человеческой субъективности открывали новые перспективы для психоаналитической работы. Рассуждения, выражавшие желание представить психоанализ в качестве естественнонаучной дисциплины, как это ни странно, все более идеологизировались, тогда как поиск социальных смыслов психических структур выводил психоаналитическое исследование к вполне реальной проблематике целостности личности. Поэтому, кстати, все более или менее серьезные психоаналитики ограничивались общими фразами

---

[1] Там же. с. 292.

[2] См.: *Баммель Г.* Философский метод Ленина и некоторые черты современного ревизионизма. — Воинствующий материалист. М., 1924, кн. 2.

[3] *Варьяш А.* Фрейдизм и его критика с точки зрения марксизма. — В кн.: Диалектика в природе. Вологда, 1926, с. 56.

о естественнонаучной природе психоанализа. В оценках действительных интенций психоаналитических исследований конца 20-х годов следует, на наш взгляд, доверять не подобным (и довольно многочисленным) декларациям, но рассуждениям, скажем, А. А. Ухтомского по поводу работ И. А. Перепеля: «Предмет исканий автора — физиологическая подпочва того клинического опыта о человеческой природе, который открывается психоаналитическим методом. Это очередная и горячая тема наших дней. Ибо психоанализ, как терапевтический метод и как мировоззрение, вскрывает в человеке и его поведении работу, с одной стороны, физиологических, а с другой — социальных сил, и выразить психоаналитический материал в терминах физиологии значило бы заполнить живою тканью тот провал, который существует между социологией и физиологией и который одинаково беспокоит и социологов, и физиологов»[1]. Суть этой позиции лучше всего выразил весьма активный в то время сторонник психоанализа А. Р. Лурия: «Все... требования, предъявляемые марксизмом к современной психологии, мы могли бы свести к требованию — поставить на место рассуждения о сущности психического и его отличия от телесного — монистический подход к изучению не «психики вообще», но конкретной нервно-психической деятельности социальной личности, выражающейся в ее поведении»[2].

Что же касается общих теоретико-методологических дискуссий, то в них, повторяем, психоаналитики все более настойчиво и все более декларативно подчеркивали как раз объективность своих концепций, тем более что идеологический натиск на психоанализ нарастал именно с этой стороны. Любые попытки серьезно дискутировать на эту тему стали к тому времени практически бесплодными. Яркий пример тому — вышедшая в 1927 г. книга М. Н. Волошинова[3]. Выполненный в нем критический разбор фрейдовского учения был направлен против отечественных пропагандистов психоанализа — Залкинда, Быховского, Лурия и Фридмана. Основные обвинения — пансексуальность, биологизм, субъективизм. Но критика не достигала цели, ибо постреволюционный психоанализ мало походил на классический фрейдизм. В самом деле, какой смысл могло иметь для отечественных психоаналитиков обвинение в пансексуальности? Волошинов был прав, настаивая на том, что психоанализ без акцента на сексуальность — не психоанализ (на том же, кстати, всегда настаивал сам Фрейд: за отступление от примата сексуальности он неоднократно предавал анафеме своих ближайших учеников). Аналогичным образом бессмысленно было упрекать

---

[1] *Ухтомский А. А*. Предисловие. *Перепель И. А*. Психоанализ и физиологическая теория поведения (наброски к физиологическому анализу неврозов). Л., 1928, с. 3. Ознакомиться с идеями Перепеля можно по его работам: Опыт применения психоанализа к изучению детской дефективности. Л., 1925; Психоанализ и психологическая школа (к вопросу об унитарной трактовке поведения). Л., 1926.

[2] *Лурия А. Р*. Психоанализ как система монистической психологии. М.-Л., 1925, с. 57–58. Заметим, кстати, что проблема личности оказалась в центре внимания французских марксистов в 70-е годы, когда они вступали в творческий диалог с психоаналитиками (см.: Marxism et psychanalyse. — «La nouvelle critique», 1970, № 37.

[3] *Волошинов М. Н*. Фрейдизм. Критический очерк. М., 1927. Есть предположение, что если не фактическим автором, то активным соавтором этой работы был М. М. Бахтин.

отечественный психоанализ в «биологизме». Хотя в принципе, как это опять-таки отмечал Волошинов, «биологизм» является существенной чертой фрейдизма.

Впрочем, Волошинов ставит в вину отечественному психоанализу и субъективизм, то есть полагает, что психоанализ принадлежит к числу психологических течений, которые хотя и используют объективный эксперимент, однако допускают, что «центр тяжести всего эксперимента лежит... во внутреннем переживании испытуемого; на него и направлена установка экспериментирующего. Это внутреннее переживание и является, собственно, предметом психологии»[1]. «Объективисты» же, с точки зрения Волошинова, хотя и не отрицали внутреннюю психическую жизнь, тем не менее настаивали на том, что все заслуживающее внимания «внутреннее» выражается во внешних реакциях, образующих поведение человека, и что «только это материально выраженное поведение человека и животных и может быть предметом психологии, желающей быть точной и объективной»[2]. Таким образом, операциональный смысл оппозиции субъективизм — объективизм у Волошинова как бы отодвигается, и на передний план выходят ее общеметодологические коннотации. Надо сказать, что эволюция смысла этой оппозиции на Волошинове не завершилась.

К 30-м годам в общеметодологической дихотомии субъективизм — объективизм резко усиливаются особого рода мировоззренческие и идеологические акценты. И по мере того, как это происходило, дихотомия превращалась в оппозицию субъективно-идеалистического и объективно-научного. Причем психоанализ, несмотря на его откровенно объективистские установки, в силу того лишь обстоятельства, что он действительно придает принципиальное значение имманентным структурам психики, автоматически попадал в разряд течений субъективно-антинаучных. Такая квалификация его методологической природы, сыгравшая в 30-е годы роковую роль, сказывается и сегодня, хотя никаких оснований для однозначной квалификации психоанализа как течения субъективистского даже по данным параметрам нет. В дихотомии субъективизм — объективизм основным является все же конкретно-операциональный план, а именно: противопоставление интроспекционистских методов методам объективного исследования психики. Психоанализ с этой, собственно методологической точки зрения, есть течение бесспорно также и объективистское, решительно выступавшее против методологии классического интроспекционизма и много сделавшее для разработки объективных методов исследования психики.

Волошинов, однако, настаивает на субъективизме отечественного психоанализа. И в определенном смысле он прав. Не в методологических постулатах, где так или иначе подчеркивались стимульно-физиологические аспекты психики, а в социально-ориентированных приложениях психоанализа отчетливо выступала у наших психоаналитиков установка на

---

[1] *Волошинов М. Н.* Цит. соч., с. 29.
[2] Там же, с. 30.

личность, на имманентную структурированность психической жизни человека и на ее самоценность в отношении к внешней среде. Это действительно так. Целый ряд направлений отечественной психологии и психиатрии, по преимуществу практической направленности, такие, как психотехника, эргономика, педология были также и в том же самом смысле субъективистски ориентированы. И точно так же, как психоанализ, они были разгромлены. Психоанализ исчез среди них первым. Но, конечно, же, не в результате волошиновской критики и не в результате теоретической критики вообще. Субъективизм всех этих направлений питался практическим запросом своего времени. И исчез этот запрос, когда характер общественно-исторической практики в стране изменился круто и однозначно, когда бессмысленным и ненужным сделался и вопрос о личности, и вообще проблема человеческой субъективности.

ФИНАЛ

Процессы, коренным образом изменившие лицо отечественной психологии, психиатрии и вообще всего комплекса наук о психике, завершились в 1936 г. Мы, пожалуй, можем даже точно назвать дату, венчающую этот переходный период, — 4 июля 1936 г., день, когда появилось постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов».

Другое время началось с тех пор для отечественной психологии, другая история: обсуждались иные проблемы, шли иные дискуссии, а споры разрешались через апелляцию к иным ценностям и стандартам. Наша психология, ее цели и задачи стали с тех пор пониматься настолько по-своему, что, в отличие от прежней отечественной, эта психология получила свое особое наименование — советская. Во всяком случае, в ней, в этой новой науке о психике, уже не было места для психоанализа, как и еще для целого ряда психологических направлений. Эти направления отечественной психологии просто исчезли в период между 1929 и 1936 гг.

Можно ли рассматривать данный процесс как естественное продолжение всей предшествующей борьбы за «марксистскую перестройку психологии» (начатую Корниловым, Выготским, Лурия, Блонским и многими другими учеными, ставшими, в конечном счете, и первыми жертвами этой перестройки)? В общем — да. Но с массой оговорок. Мы, во всяком случае, хотели бы подчеркнуть своеобразие и особую значимость периода 29–36 гг. Ибо именно в это время произошло то, что в современной литературе называют фундаментальной сменой парадигмы: 1) многообразие подходов и точек зрения, постоянно сталкивающихся, но и сосуществующих, взаимодействующих, взаимообогащающих друг друга резко сузилось, временами «схлопываясь» до одного, «единственно верного» подхода; 2) изменился стиль научной жизни, изменились цели, стандарты и сам смысл научной деятельности; и наконец; 3) только в эти годы и определилось, чему так или иначе быть в советской психологии, а чему не быть никогда.

Примерно к 1930 году разрушительный приступ самобичевания захватил практически все тогда существовавшие направления отечественной психологии и психиатрии. Причем речь шла не о переосмыслении и критике, а о самороспуске, о саморазрушении этоса отечественной психологической науки. Этот приступ не был вызван внутренними потребностями психологии. Изменился общественно-политический контекст, заставивший ученых выступать со статьями-покаяниями по поводу «порочащих» их связей (даже с вполне материалистическими школами): «Связав свое марксистское определение со школой Бехтерева, я поддерживал скверные традиции буржуазной науки с ее авторитарностью и филистерской этикой, с традициями антагонизма ее односторонних направлений, теорий, школ и школок, пытаясь канонизировать “с точки зрения марксизма” одно из этих направлений, отождествив его с марксизмом»[1]. Так разрушились самые основания науки психологии, чтобы внедрить новую парадигму, которая представала тогда еще в самом общем, но уже довольно определенном виде: «Подлинными основоположниками советской психологии, — продолжал тот же кающийся автор, — как психологии диалектико-материалистической, являются, понятно, не отдельные школы и направления, хотя и шествующие “под знаменем марксизма” (что буквально относится к Корнилову и его “школе”), а основоположники марксизма-ленинизма. Между тем, до настоящего времени имеются попытки вывести советскую психологию не из философского наследства *Маркса — Энгельса — Ленина,* не из истории большевизма и работ *Сталина,* образующих единственно верный критерий по отношению к истории психологической науки, а из отдельных направлений, по своим корням и содержанию несомненно буржуазных»[2]. Цитата, верно, длинная, но привести ее полностью, думаем, необходимо хотя бы для того, чтобы показать, вопреки каким установкам, тем не менее продолжали работать психологи (и среди них, кстати, автор приведенных цитат).

Первый номер журнала «Психология» за 1931 г. открывался не научной публикацией, но резолюцией общего собрания ячейки ВКП(б) ГИППИа (Государственный институт психологии, педологии, психотехники и дефектологии) от 6 июня 1931 г. «Итоги дискуссии по реактологической психологии». В этом постановлении содержатся выпады практически против всех направлений тогдашней психологии. Критика как бы распределяется на всех, имея своей целью не то или иное направление (в психологии), а само представленное в ней многообразие точек зрения и подходов. Однако можно уловить и тенденцию: преимущественным объектом разрушительной критики оказываются, с одной стороны, те психологические течения, которые ориентированы на объективное исследование индивидуальной физиологической и биологической базы психики (рефлексология, реактология и т.д.), а с другой — те направления, где в осмыслении психики отчетливо проступает «субъективизм» социологических установок, где в

[1] Ананьев Б. Г. О некоторых вопросах марксистско-ленинской реконструкции психологии. — «Психология», 1931, т. IV, вып. 3–4, с. 330.

[2] Там же, с. 332.

центре оказываются имманентные психические структуры, с точки зрения которых рассматривается и оценивается психическая значимость (социальной) среды. Причем эти имманентные психические структуры зачастую прямо соотносятся с физиологическими механизмами. Таковы психотехника (Шпильрейн), педология (Блонский, Залкинд). Таков был и психоанализ.

Откуда шли эти мощные, меняющие лицо отечественной психологии импульсы? Собственно, в начале 30-х годов изменилось то, что называют запросом общественно-исторической практики. И психология, которая вообще всегда была весьма чувствительной к движениям общественного интереса, быстро отреагировала на это изменение. Еще в начале 20-х годов много внимания уделялось разработке научно-обоснованных норм труда. Причем научное обоснование норм исходило из самочувствия человека, его потребностей, то есть внутренней нормы. Идеологически эта задача выступала как определение гуманных норм труда в отсутствие рынка и эксплуатации. Психологи живо откликнулись на этот запрос, участвуя в поиске методик и принципов нормирования. Разработка принципов НОТ и программ профессиональной подготовки стимулировала исследования по психотехнике, составление профессиональных психограмм, психофизиологические поиски. В этой работе непосредственно участвовали практически все ведущие психологи — Корнилов, Блонский, Выготский, Шпильрейн и пр. Еще в 1928 г. К. Н. Корнилов писал: «...ударная задача поднятия нашего производства вполне естественно вызывает неудержимый рост психотехники, как, с другой стороны, забота о подрастающем поколении вызывает столь же интенсивный рост педологии»[1].

С начала 30-х годов меняются цели НОТ и рационализации. Соответственно меняются задачи, стоящие перед исследователями, в том числе и психологами. Превалировать начинает не гуманитарная, а техническая норма — нужная, потребная, определяемая директивным решением, техническими заданиями, планом и не принимающая в расчет психофизиологический комфорт человека, физиологическую и тем более психологически-личностную норму. Мы не будем здесь задаваться вопросом о том, насколько эффективна и вообще возможна организация труда, построенная исключительно на «физиологически и психологически обоснованных нормах». Нам важно уяснить вектор вновь возникшего практического запроса. Так вот, в рецензии некоего В. Исакова с многообещающим заглавием «О меньшевистской теории рационализации Ерманского» читаем: «Установление зарплаты на основе физиологического нормирования есть по существу пропаганда уравниловки»[2]. Это свидетельство времени достаточно ясно показывает, какие психологические направления могли выжить в то время, а какие — были обречены.

---

[1] *Корнилов К. Н.* Современные состояния психологии в СССР. — «Учен. записки ин-та экспер. психологии», 1928, т. III, с. 25.

[2] «Книга и пролетарская революция», 1934, № 3, с. 123.

Еще председательствовал А. Залкинд на I-м Поведенческом съезде (1930). Еще удавалось под руководством Шпильрейна собрать съезд по психотехнике (1931). Еще достаточно активно работали педологи. Но дни этих направлений были сочтены: 1931 год был уже провозглашен «Бригадой ГИППП» годом борьбы за решительный поворот в деле перестройки психологии на основе марксизма-ленинизма, за преодоление отставания психологической теории от практики социалистического строительства. Причем борьбы на два фронта — против механицизма и меньшевиствующего идеализма[1].

Наиболее жесткие меры были применены, естественно, к направлениям, имеющим непосредственные социально-экономические приложения, — к эргономике, психотехнике. Лидер последней, Шпильрейн, уже через два года, в 1933 г., был арестован. Затем перешли к уничтожению более теоретичных направлений — рефлексологии, культурно-исторической теории, педологии. Однако самым первым из всей группы прекратил свое существование психоанализ — направление, далеко не прямо связанное с экономикой или организацией производственных отношений, но зато очень сильно социологизированное у нас и потому имеющее отношение к весьма тонким социально-экономическим жизненным структурам.

В 1929 г., к самому началу описанного выше процесса, в Советский Союз приезжает Вильгельм Райх — австрийский психоаналитик, марксист по убеждению, утерявший всякую надежду реализовать потенции психоанализа в условиях господства буржуазии. Здесь, в Союзе, его ожидал, однако, более чем прохладный прием. Своими выступлениями и публикациями он вызвал дискуссию, основным результатом которой можно, пожалуй, считать лишь широкое распространение термина «фрейдо-марксизм».

Для нас, однако, эта дискуссия представляет известный интерес, ибо являет нам столь редкий в истории момент повторяемости. Дело в том, что планы использования психоанализа, которые Райх привез в Россию, представляли собой аналог отечественных планов на этот счет начала 20-х годов. Во всех своих выступлениях Райх подчеркивал, что психоанализ, именно как естественнонаучная дисциплина, имеет весьма большое значение для пролетарского государства, и марксистская критика должна лишь скорректировать его приложения в двух пунктах. Во-первых, марксизм с самого начала должен умерить мировоззренческие претензии психоанализа. Психоанализ не может ни заменить, ни восполнить материалистический взгляд на историю: как естественнонаучная дисциплина, он просто несоизмерим с Марксовым пониманием истории; подлинный предмет психоанализа — душевная жизнь отдельного человека, замкнутая, в конечном счете, на сексуальность. Феномены же классового сознания, проблемы массовых движений, стачки и прочие явления, относящиеся к учению об обществе, непосредственно не могут быть его объектами.

[1] См.: *Гершенович Л., Размыслов А., Шемякин Ф.* (Бригада ГИППП). О журнале «Психология» за 1931 г. — «Психология», 1932, № 3, с. 70–77.

Психоанализ не может заменить собой учение об обществе или развить из себя такое учение. Но зато, во-вторых, (и здесь так же должна проявляться направляющая роль марксизма), он может успешно выполнять роль вспомогательной дисциплины — хотя бы в виде варианта социальной психологии. Например, он способен вскрыть те иррациональные мотивы, которые могли бы побудить какого-нибудь будущего вождя примкнуть именно к социалистическому или националистическому движению, или проследить влияние общественных идеологий на душевное развитие индивида. Однако и теоретическая и жизненно-практическая ситуация конца 20-х годов существенно отличалась от постреволюционной ситуации начала 20-х. И это отличие в полной мере испытал на себе Райх. Отечественный психоанализ за прошедшее время окончательно утвердился в своем отказе от теоретической и практической ориентации на сексуальность и возвращаться к фрейдизму в его узком понимании он, во всяком случае, не желал. Но главное, пожалуй, заключалось в том, что размежевание с фрейдизмом в конце 20-х годов приобретало предельно заостренные идеологические и даже политические формы. Неудивительно поэтому, что наиболее решительными и жесткими противниками Райха оказались именно психоаналитики, среди коих особо выделялся А. Залкинд.

Редакция журнала «Под знаменем марксизма», публикуя статью Райха[1], посчитала необходимым сразу отмежеваться от авторской трактовки фрейдизма и поместила в том же номере полемическую статью И. Сапира[2]. Выступление Райха в Комакадемии «Психоанализ как естественнонаучная дисциплина» немедленно вызвало возражения[3]. При этом Залкинд заметил, что выступление Райха «является попыткой западной эклектики проникнуть в начинающий всерьез консолидироваться в Советском Союзе марксизм»[4].

Впрочем, Залкинд столь же сурово оценил вообще всю ситуацию — от литературной критики (где Воронский, Сейфуллина, Пильняк пытаются представить творчество как «бессознательную» стихию) до психогигиены, где наиболее выражен «правый идеологический лагерь». Но именно беспредельная широта, разброс залкиндовских оценок свидетельствует о том, что пугает Залкинда не столько собственно теоретическая позиция Райха, сколько независимая поза психоаналитика-профессионала, претендующего на какое-то самостоятельное суждение в общественной жизни. Залкинда пугают теперь те самые претензии психоанализа, которые несколькими годами раньше его вдохновляли. Во всем он улавливает идеологический подтекст. Так, Райх заявляет: «Если вы хотите разрешить вопрос о профилактике органических заболеваний, вы должны сначала запросить некоторые науки — физиологию, патологию и другие дисциплины, а затем

---

[1] См.: *Рейх* [Райх] *В*. Диалектический материализм и психоанализ. — «Под знаменем марксизма», 1929, № 7–9.

[2] См.: *Сапир И*. Фрейдизм, социология, психология — Там же.

[3] См.: *Рейх* [Райх] *В*. Психоанализ как естественнонаучная дисциплина. — «Естествознание и марксизм», 1929, № 4.

[4] «Естествознание и марксизм», 1929, № 4, с. 117.

создать ряд экономических мероприятий, соответствующих данным органической медицины. Когда вы через несколько лет (возможно, уже после благоприятного завершения пятилетки) подойдете к вопросу душевной гигиены и профилактике неврозов, — а если вы к этому не подойдете, то он сам встанет перед вами, вам понадобится действительно объективная психология, которая скажет вам, каковы законы психической экономии и при каких условиях возможны достижения в этой области. Этой диалектико-материалистической психологией, которая даст вам правильные методы, будет психоанализ. В самом скором времени вас, конечно, начнут интересовать, какие условия способствуют наилучшему развитию работоспособности индивидуумов. Тогда наступит тот момент, когда нужно будет воспользоваться основными концепциями психоанализа в психическом аппарате и применить их на практике»[1]. Возражая такого рода пассажам, Залкинд апеллирует не к теоретикам или общеметодологическим соображениям, а к практически-жизненным контекстам, упрекая Райха за то, что он видит в СССР лишь «страну цели», страну, устремленную к социализму, но не замечает ни конкретной политической ситуации, ни политической истории этой страны и потому не способен дать оценку действительной роли фрейдизма.

Сам Залкинд, надо полагать, отчетливо ощущал давление этой социально-идеологической ситуации. Может быть потому, что был отнюдь не безгрешен. Во всяком случае, к этому времени он мог уже догадаться, что даже если взгляды психоаналитика, представляющие позицию личности по отношению к обществу, совпадают с господствующей в обществе идеологической тенденцией, сами претензии психоанализа на самостоятельное выражение этой личностной позиции и тем более на практическую деятельность и практическую оценку становятся неуместными в условиях абсолютного господства этой «общезначимой» идеологии. Содержательное совпадение социально-исторических и психоаналитических оценок лишь маскирует их несовместимость. Поэтому даже тогда, когда Залкинд провозглашал революционной молодежи свои более чем классовые заповеди, он, провозглашая их от лица психоанализа, брал на себя чужую, с точки зрения всепроникающей идеологии, роль (и действительно, позднее оказалось, что не рекомендации психоаналитика — даже вполне классовые, — а соображения «ячейки» правомочны регулировать половые отношения; и не к психоаналитику, а к секретарю этой «ячейки» следовало обращаться молодежи в затруднительных с социально-классовой точки зрения случаях). Залкинд, очевидно, ощущал приближение того времени, когда даже эти политически невинные экскурсы в социальную проблематику могут быть оценены очень сурово, когда «психограмму» заменит «характеристика», когда будут четко определены темы, запретные для социально-психологического анализа, а тем более запретные для анализа с личностно-критических позиций пациента. И

[1] *Рейх* [Райх] *В*. Психоанализ как естественнонаучная дисциплина. — «Естествознание и марксизм», 1929. № 4, с. 107.

уж во всяком случае не врачу-психоаналитику будет предоставлено тогда право оценивать здоровье РКП, если даже этот врач — член РКП. Очерк Залкинда «О язвах Р.К.П.» — один из наиболее реалистичных, но дело даже не в качестве этого социально-психологического анализа здоровья партии. Дело в том, что в 1924 г. такого рода исследования были еще допустимы, а в 1929 — уже нет.

С точки зрения сегодняшнего нашего исторического опыта ясно, что у Залкинда было больше оснований опасаться репрессий за этот очерк, чем за все теоретико-методологические ошибки психоанализа вместе взятые. И видимо потому, что он вовремя понял это и тихо прекратил всякую психоаналитическую работу, мы можем найти статью о нем в БСЭ за 1933 г. Сама жизнь, складывающаяся в стране с 30-х годов, отторгла психоанализ с его утверждением определенной самостоятельности психической жизни индивида, с его склонностью к субъективизму в социально-психологических исследованиях и критицизму в социальной позиции практикующего психоаналитика. Все это, по-видимому, поняли и Лурия, и Выготский, и Быховский, и многие другие лидеры отечественной психологии и психиатрии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Менее всего мы хотели, чтобы этот очерк был воспринят как упрек в адрес нашей психологии — как той, которая сложилась в 30-е годы, так и той, какая она сегодня. Наша психология, пусть даже и в усеченном виде, была и остается продолжением традиций отчасти отечественной, отчасти мировой психологии. Ее односторонность — не ее вина; она страдала и страдает до сих пор от отсутствия внутреннего диалога различных психологических направлений. Тем не менее есть достижения и есть имена, которыми эта наука вправе гордиться — Выготский, Рубинштейн, Гальперин, Леонтьев. Отнюдь не упрека, иных оценок требует ее судьба.

Но наша современная психология, видимо, приблизилась к тому рубежу, когда дальнейшее движение становится невозможным без радикального обновления ее оснований; основания же эти необходимо и расширить и углубить так, чтобы включить целый ряд течений современной психологии, в частности — психоанализ. Однако, как показывает тот же исторический опыт, подобные процедуры не производятся по желанию, а в случае наук о человеке не являются даже частным делом самой науки. Во всяком случае, применительно к психоанализу исторический опыт достаточно ясно свидетельствует о том, что это психологическое течение может существовать лишь в общественных структурах определенного рода, отличительной особенностью которых является отсутствие господствующей тотальной идеологии. Можно назвать эти структуры демократическими, хотя это и не совсем точно. И чтобы пояснить (а не объяснить!), уместным здесь будет напомнить одно замечание И. Бреса: «Даже поверхностный взгляд на ряд обычаев нашей эпохи свидетельствует о том, что именно к психологу все

больше и больше обращаются за помощью и советами в тех случаях, когда раньше обращались прежде всего к кюре, судье, должностному лицу, учителю или философу. Не будет ошибкой сказать, что психология “питается” прежде всего определенной секуляризацией наших обществ, а в более широком плане — духовным упадком властей»[1]. Именно этот «упадок» оставляет место для психоанализа. Поэтому, принимая в расчет все сказанное, можно заключить: будет наше общество развиваться в направлении этого «упадка», — и психоанализ, и многие другие дисциплины так или иначе найдут себе место в отечественной психологии. А нет — значит, нет.

Вопросы философии,
1991, № 7, с. 87–108

[1] *Брес И.* Генезис и значение психологии. — В кн.: Современная наука: познание человека. М., 1988, с. 135–136.

К истории психоанализа в Советской России

А. И. Белкин, А. В. Литвинов

В начале XX века психоанализ был хорошо известен в России, поскольку основные труды Фрейда почти сразу после их публикации переводились на русский язык. Интересно отметить, что русский был первым иностранным языком, на который были переведены работы ученого. Впоследствии это направление науки, не встречавшее препятствий в первые годы существования Советского государства было запрещено. Только благодаря демократическим реформам появилась возможность восстановить историю русского психоанализа — его развития и уничтожения. В основу настоящей работы легли архивные материалы, еще недавно закрытые для многих исследователей. Речь идет о документах Центрального государственного архива России, архива Октябрьской революции, а также о личных архивах.

З. Фрейд считал Москву в начале века третьим городом по степени развития психоанализа в мире после Вены и Берлина. Почему же именно в России так активно были подхвачены его идеи? Можно предположить следующее. Во-первых, практиковавшие тогда в России врачи в основном ориентировались на медицинские школы Германии, Австрии и Швейцарии, пользовавшиеся заслуженным авторитетом не только в области психиатрии и психологии. Существенным было и влияние философии, литературы, искусства немецкоязычных стран на общественное сознание россиян, что также благоприятствовало развитию психоанализа. Во-вторых, сказывалось действие русской литературы, в которой еще задолго до открытий Фрейда проявился интерес к проблемам бессознательного, иррационального. Произведения Гоголя, Достоевского, Толстого и других писателей, раскрывшие всю сложность духовных переживаний человека, не могли не повлиять на становление многих интеллектуалов того времени. И, наконец, для развития психоанализа много сделали русские педагоги, считавшие первостепенной задачей формирование у ребенка индивидуальности с самого раннего возраста, что, как известно, невозможно без учета бессознательного.
Нельзя не учитывать и тот факт, что становление психоанализа, как во всем мире, так и в России происходило во время бурных социальных катаклизмов. Один из них — Октябрьский переворот и приход к власти большевиков, считавших одной из неотъемлемых частей социальных преобразований создание «нового человека».

ПСИХОАНАЛИЗ И ВОСПИТАНИЕ «НОВОГО ЧЕЛОВЕКА»

Каким же виделся лидерам тогдашней России этот почти фаустовский Гомункулус — «новый человек»? Ответить на этот вопрос позволяет

знакомство с архивными документами, отражающими подход к проблеме воспитания в первые годы советской власти.

Согласно большевистской концепции, сущность так называемой «переходной» эпохи сводилась с одной стороны к строительству социализма в СССР, с другой — к борьбе с капитализмом в мировом масштабе. Обе эти неразделимые задачи при помощи воспитания предполагалось «проецировать» в социальную сущность «нового человека».

Роль «стержня» в воспитательной работе отводилась, естественно, «пропаганде текущих задач партии и советской власти на основе марксистско-ленинского мировоззрения». Подчеркивалось, что при таком воспитании роль биологических факторов может уменьшаться, в отличие от выдвигавшегося во главу угла фактора «социального роста». Например, огромное воспитательное значение, по мнению сторонников этой концепции, могла оказывать сама по себе принадлежность к определенному классу.

К 20-м годам психоанализ был уже достаточно сложившимся направлением в науке, хотя во многом выглядел экспериментальным. Как известно, В. И. Ленин не воспринимал его всерьез. «Теории Фрейда, — говорил он в одной из бесед с К. Цеткин, — тоже своего рода модная причуда. Я отношусь с недоверием к теориям пола, излагаемым в статьях, отчетах, брошюрах и т.п., — короче, к той специфической литературе, которая пышно расцвела на навозной почве буржуазного общества... Мне кажется, что это изобилие теорий пола, которые большей частью являются гипотезами, притом часто произвольными, вытекает из личных потребностей. Именно из стремления оправдать перед буржуазной моралью собственную ненормальную или чрезмерную половую жизнь и выпросить терпимость к себе. Это замаскированное уважение к буржуазной морали мне так же противно, как и любовное копание в вопросах пола»[1]. Напротив, Л. Д. Троцкий говорил о психоанализе как об инструменте, предназначенном для завоевания будущего счастья, но относился к нему не столько как к методу познания человека, сколько как к средству достижения классовых целей. Как и некоторые другие вожди большевизма, например Н. И. Бухарин, он считал, что необходимо «овладеть» бессознательными процессами в психике, чтобы сделать подконтрольным в каждом человеке абсолютно все. Поэтому психоанализ, ставящий во главу угла изучение бессознательного, показался многим марксистам вполне пригодным для решения подобной задачи.

Говоря о той эпохе, было бы справедливо отметить, что интерес коммунистов, социал-демократов и прочих представителей «левых» сил к психоанализу был взаимным. Многие ученики З. Фрейда, лояльно относились к «левым», а В. Райх одно время был даже членом коммунистической партии. Сам З. Фрейд проявлял в этом отношении свойственную ему осторожность, явно не симпатизируя попыткам «соорудить новую коммунистическую культуру в России»[2].

---

[1] К. Цеткин о Ленине. М., 1955. 44 с.

[2] *Фрейд З.* Недовольство культурой. В кн.: Психоанализ. Религия. Культура. М.: Ренессанс, 1991. 109 с.

Понятие «реальность» всегда трактовалось коммунистами весьма своеобразно: если реальность не соответствовала положениям марксистско-ленинского учения, ее пытались переделать или просто уничтожить. Возможно, именно поэтому через несколько лет после Октябрьской революции психоанализ, как не выполнивший классового запроса, был запрещен. Можно предположить, что кто-то наверху, внимательно изучив работы З. Фрейда, понял, что этот метод обращен прежде всего к отдельному человеку, но никак не к массам, тем более к классам. Такое прозрение тоталитарной власти в понимании психоанализа, а позднее — педологии, генетики, кибернетики привело к их запрещению в Советском Союзе. Но это было потом, а на рубеже 20-х годов «классовый запрос» только формировался. Психоанализ наряду с другими сопряженными дисциплинами должен был любой ценой и как можно скорее помочь воспитанию «нового человека».

Архивные материалы свидетельствуют, что на коллегиях Народного комиссариата просвещения и Главнауки, курировавших психоанализ, обсуждалась возможность применения этого метода в первую очередь к детям. Буквально с первых дней существования советской власти воспитанием детей в духе преданности идеям Октября занялись всерьез. Уже в мае 1918 года были утверждены «Основные положения о Центральных показательных учреждениях при дошкольном отделе Наркомата просвещения» под общим названием «Институт ребенка». Основная задача этого подразделения — всестороннее изучение и распространение знаний о природе ребенка и его воспитание преимущественно в дошкольном возрасте. Важная роль в работе института отводилась психологической лаборатории
Над этой проблемой работал и Институт по изучению мозга и психической деятельности в Петрограде под руководством академика В. М. Бехтерева. Наряду с лабораторией психотерапии и гипноза, применявшей, как сказано в отчете, «лечение психоанализом по Фрейду и катартический метод психоанализа в гипнозе по Франку», а также разрабатывавшей «ассоциации по Юнгу», существовали лаборатории экспериментальной педагогики, школьной, умственной и нервной гигиены.

В Институте мозга в качестве ассистента работала Т. К. Розенталь — один из первых русских психоаналитиков. Американский исследователь в области истории психоанализа Мартин А. Миллер считал ее весьма квалифицированным психоаналитиком[1]. Еще в 1911 г. Татьяна Розенталь, будучи одновременно членом социал-демократической партии в Петербурге и Венского психоаналитического общества, опубликовала в русском журнале «Психотерапия» статью «Опасный возраст Карины Михаэлис в свете психоанализа», где женские образы в произведениях немецких писателей рассматривались с позиций фрейдизма. В институте Т. К. Розенталь читала курс лекций «Психоанализ и педагогика», работала над темами «Теория

[1] Miller, Martin A. Freudian Theory Under Bolshevik Rule: The Theoretical Controversy During the 1920's. — Slavic Review 44. 1985, p. 625–646.

психоневрозов и опыт войны и современности», «Страдания и творчество Достоевского».

В 1920 г. Народный комиссариат просвещения издает положение «О совете изучения ребенка при секторе социального воспитания». Перед Советом ставилась задача разрабатывать научные и научно-практические вопросы, касающиеся всех областей изучения ребенка.

Такие работы велись и в Московском психоневрологическом институте, где в то время в качестве члена коллегии по отделу нормальной и патологической психологии работал воодушевленный идеями психоанализа профессор И. Д. Ермаков. Интерес к психоанализу сформировался у него в 10-е годы во время пребывания в Европе, а его выступление в сентябре 1913 г. на научном собрании врачей психиатрической клиники в Москве на тему «Учение Фрейда по Блейлеру» стало первой вехой в деятельности ученого как последователя и пропагандиста учения З. Фрейда[1]. В отчете Московского психоневрологического института есть указания на то, что И. Д. Ермаковым был собран уникальный психодинамический материал по данным наблюдения над 100 школьниками в возрасте от 8 до 12 лет. Исследования детей проводилось по методу свободных ассоциаций с обращением внимания на эмоциональную сферу. Тогда же И. Д. Ермаковым был разработан новый методологический подход к детскому рисованию и анализу рисунков, готовилась к изданию книга на эту тему, велись работы по изучению половой жизни ребенка.

Есть основание считать, что перед учеными, желавшими претворять идеи З. Фрейда в жизнь России на рубеже 20-х годов, встал выбор: либо работать, но используя психоанализ прежде всего в угоду интересам советской власти, либо вообще от него отказаться.

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ, ПСИХОАНАЛИЗ И РЕБЕНОК (ПОПЫТКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ)

Согласно учению З. Фрейда об эдиповом комплексе, у ребенка по отношению к родителям имеются амбивалентные чувства. Мальчик стремится на бессознательном уровне овладеть матерью как женщиной, устранив соперника, то есть отца, которого он в то же время любит и чьей любви желает. В определенный момент эдипов комплекс распадается, и здесь отказ от первичных привязанностей заменяется идентификацией.

В условиях тоталитарного государства система ставит над биологическим отцом вождя, и индивидуум стремится объединиться со всеми, кто признает такого символического отца. Особенно отчетливо мы видим это в сталинском периоде нашей истории на примере всевозможных одобрявшихся властями ритуальных парадов, демонстраций, съездов, фестивалей. Их помпезность всегда сочеталась с униформизмом действий, единообразием мыслей и рьяно

[1] *Ермаков И. Д.* Учение З. Фрейда по Блейлеру (сообщение на научном собрании врачей психиатрической клиники 21.09.1913) (оттиск).

демонстрировавшейся готовностью служить вождю и идее вплоть до самопожертвования. Можно допустить, что эдипова проблема, как ее поставил З. Фрейд, не разрешалась, а, наоборот, усугублялась.

В психоанализе неразрешенная эдипова ситуация рассматривается как невроз и регресс личности; при этом человек, сталкивающийся с жизненными трудностями, регрессируя, вновь и вновь прибегает к тем формам поведения, которые обеспечивали ему психологическую защиту в эдиповом возрасте. В тоталитарном обществе, где все социальное гипертрофируется, для индивидуума, помимо отца биологического, важную роль играет идеологизированный «над-отец» — дополнительный объект идентификации. Этот феномен описан как «социальный Эдип»[1]. Поэтому в определенные моменты человек, живущий при тоталитаризме, регрессирует не только до какой-то из ранних фаз организации либидо, как это бывает при неразрешенном эдиповом комплексе, но и социально. И здесь наряду с идентификацией важную роль начинает играть обратный ей процесс, называемый дистинкцией[2]. Он проявляется в предвзятости ко всему, что не относится к сфере усвоенных субъектом стереотипов. Другие люди рассматриваются только под одним углом — подходят ли они под эталоны, выдвинутые вождем? Всякий, кто имеет иную идентификацию, самым решительным образом негативизируется. Дистинкция возникает быстрее идентификации, здесь не требуется конкретного образа, идеала для подражания. Необходимо только отмежеваться от другой культуры, от всего «классово чуждого».

Наиболее опасно для личности участие авторитета вождя не только в формировании Я, но и Сверх-Я. Разрушается психологическая целостность индивидуума, редуцируется понятие совести. Жажда свободы уходит в бессознательную сферу, прорываясь наружу в виде немотивированной агрессии. Сверх-Я отдельной личности низко склоняло голову перед авторитетом вождя.

Итак, что же происходит, когда побеждает новая власть? Психоанализ учит: к триумфу победы всегда примешивается страх перед наказанием со стороны свергнутых. Представим известные события, связанные с революцией 1917 года в России, в их психоаналитической интерпретации.

Сама революция может быть сравнена с регрессом до уровня первобытной орды, при котором большевики — это братья, все-таки уничтожившие отца (прежнюю власть) и овладевшие матерью (Россией). Но вожделенному наслаждению от такой победы эти «братья» отдаться не могут. Они начинают опасаться друг друга. Боязнь того, что поверженный «отец» вновь поднимет голову и все-таки накажет, лишает покоя. В бессознательном «братьев» растет напряженность, и, защищаясь от нее, они идут на новые и новые проявления агрессии (например, «красный террор»). Эти вспышки насилия уменьшают тревогу, но очень ненадолго.

---

[1] *Белкин А. И.* Зигмунд Фрейд: возрождение в СССР? В кн.: З. Фрейд. Избранное. М.: Внешторгиздат, 1989, с. 28.
[2] Там же, с. 31.

И еще одна уловка — это борьбы с символами, как правило, фаллическими, олицетворяющими былое могущество «отца». Что, если посмотреть на разрушение памятников и церквей в годы советской власти, как на неуклюжие попытки *символически* доказать отцу свою победу над ним?

Позже, когда из среды «братьев» выходит все более обожествляемый «вождь», а остальные становятся «мини-вождями», норовящими подсидеть, дискредитировать и даже убить в борьбе за расположение нового божества своих недавних соратников, у каждого может возникнуть вопрос: «Не постигнет ли меня участь свергнутого (убитого) мной?» Опасение далеко не беспочвенное. В результате — поиск новых и новых средств, позволяющих обезопасить свое существование. На этом этапе гипотетический «мини-вождь» видит угрозу, не меньшую, чем со стороны поверженного «отца», которая исходит уже со стороны своего собственного «ребенка» (подданного), то есть — некий эдипов комплекс наизнанку. И это — при условии рабской, беззаветной преданности «вождю-отцу», сублимации либидо на службу ему.

Здесь хочется предупредить возможные упреки в наш адрес. Мы далеки от мысли считать психоанализ «единственно правильным учением» взамен, например марксизму. Подчеркнем, что наша точка зрения — всего лишь одна из гипотез, но нам кажется, что если она будет учтена, знание собственной истории станет более глубоким и многообразным.

Боясь впасть в редукционизм, мы все же берем на себя смелость предположить, что этот бессознательный страх сыграл главную роль в становлении идеи «нового человека» в послереволюционной России. Основывалось это воспитание на десексуализации, постоянных депривациях, культе аскетизма. «Мы решительно боремся даже с малейшими проявлениями сексуальности у наших детей», — характерное заявление авторитетного педагога 20-х годов.

В системе такого воспитания психоанализ, по-видимому, и должен был, по мнению новой власти, сыграть определенную роль.

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ «МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ»

В мае 1921 г. при отделе психологии Московского психоневрологического института был открыт детский дом-лаборатория по изучению детского возраста, руководство которым было поручено профессору И. Д. Ермакову. Правда, через некоторое время институт начинает активно открещиваться от детского дома. 24 февраля 1922 г. на коллегии института было решено не считать детский дом-лабораторию состоящим при институте в числе его вспомогательных учреждений. Но несмотря на это работа там продолжалась.

В том же году И. Д. Ермаков по личному поручению Народного комиссара просвещения А. В. Луначарского при посредстве Коминтерна и

Российского союза горнорабочих провел переговоры с Виттом, представителем Союза германских горнорабочих «Унион», который заинтересовался детским домом, по своему почину пожелал содействовать разработке новых социально-педагогических приемов в международном масштабе и решил оказывать постоянную поддержку детскому дому. В соответствующем документе подчеркивается, что дом-лаборатория в научном отношении следует психоаналитическим методам З. Фрейда. Немецкой стороной было предложено назвать детский дом «Международная солидарность». Научное наблюдение за его работой было возложено на научную комиссию (кураторий), в которую вошли О. Ю. Шмидт, руководивший в то время Государственным издательством, профессор А. Н. Бернштейн — директор психоневрологического института и профессор И. Д. Ермаков. *С* мая 1922 г. в документах появляется название «институт-лаборатория «Международная солидарность» и формируются цели его работы

В штат института-лаборатории, помимо И. Д. Ермакова, также входили врачи С. Н. Шпильрейн и Л. С. Гешелина, ответственные руководительницы В. Ф. Шмидт и Л. С. Егорова, руководительницы-педагоги В. В. Королько, Т. Н. Лебедева, Т. М. Церетели, Е. Р. Ульрих, Е. С. Фридман, Е. И. Любимова. Детскому дому было выделено прекрасное здание на Малой Никитской, известное до революции как особняк Рябушинского.

Количество детей-воспитанников всегда было ограниченным 10–12 человек. В архивных документах сохранилось несколько имен первых из них. Это Володя Мишин, Волик Шмидт, Ира и Хеда Трояновские, Вера Гоберман. Интересные сведения о работе «Международной солидарности» можно найти в докладной записке заместителя управляющего инспекцией просвещения и пропаганды НК РКИ (рабоче-крестьянская инспекция) А. М. Росского, адресованной члену коллегии НК РКИ А. И. Свидерскому. Это один из немногих полностью доброжелательных отзывов о работе Детского дома со стороны представителей административных органов.

Позиции психоанализа в России, бесспорно, укрепились после утверждения Главнаукой 30 сентября 1922 г. Русского психоаналитического общества. Созданию общества предшествовало письмо группы крупных ученых того времени в Главнауку, ходатайствовавших об этом. Но в то же самое время ужесточались нападки на институт-лабораторию со стороны бюрократических структур. Одна за другой создавались всевозможные комиссии, проводились многочисленные заседания, на которых критиковались применявшиеся И. Д. Ермаковым и его сотрудниками методы. По-видимому, у организаторов этих акций проснулось классовое чутье, в связи с чем психоанализ стал представляться им все более и более враждебным.

Один из характерных примеров — заседание Президиума научно-педагогической секции Государственного ученого совета 26 апреля 1923 г., на котором присутствовали М. Н. Покровский, О. Л. Бем, П. П. Вронский, Н. Т. Руднева, Г. О. Гордон, С. Т. Шацкий, И. Л. Цветков, Р. В. Ларинов, Н. И. Карпов, Е. Б. Зомбе. В постановлении заседания говорится:

«а) исследовательская работа, проводимая в детском доме «Международная солидарность» в ее настоящей постановке поглощает непроизводительно большое количество государственных средств по сравнению с даваемыми ею результатами;

б) нет оснований рассчитывать, что деятельность психоаналитической лаборатории «Международная солидарность» возможно использовать для непосредственных задач, стоящих перед ГУСом (Государственный Ученый Совет)». Однако руководитель педагогической станции, известный в 20-е годы педагог, С. Т. Шацкий считал, что материал, накопленный Детским домом, очень интересен и призывал к улучшению условий работы «Международной солидарности».

8 октября 1923 г. под председательством народного комиссара просвещения А. В. Луначарского состоялось заседание коллегии Наркомпроса, на котором присутствовали М. Н. Покровский, В. Н. Яковлева, О, Л. Бем, А. С. Бубнов, представители НК РКИ Кумченко (инициалы отсутствуют) и А. М. Росский. С докладом выступил О. Л. Бем, возглавлявший очередную комиссию по обследованию детского дома «Международная солидарность». В принятом постановлении говорится:

«а) признать необходимым сохранение детского дома «Международная солидарность», ведущего чрезвычайно ценную работу по наблюдению и изучению ребенка вообще и детской сексуальности в частности:

б) расширить задачи дома в сторону изучения социальных начал развития ребенка;

в) признать желательным организацию для руководства указанным детским домом компетентного органа, вопрос о котором поручить проработать Главнауке;

г) расширить границы наблюдения над детьми за счет усиления пролетарского состава детей дома;

д) принять меры к укрупнению детского дома в целях удешевления содержания каждого ребенка».

О положении дел в детском доме докладывается в Совет народных комиссаров РСФСР. Заместитель наркома просвещения В. Н. Яковлева так определяла работу «Международной солидарности»: «Ставя себе целью выработку методов изучения и воспитания полноценных в социальном смысле детей при участии нового, подготовленного к этой деятельности педагогического персонала, детдом «Международная солидарность» достигает этой цели путем общего ознакомления с психикой детей... с точки зрения психоанализа (типы доминирующих зон по Фрейду, Юнгу и др.)... Записи наблюдений, бюллетени, анализ детских рисунков, живописи, построек, вырезания, импровизации представляют громадный интерес и имеют несомненную научную ценность. В качестве самостоятельных вопросов для изучения ставятся такие, как детские страхи, положение ребенка во сне и прочее». В конце своего отчета В. Н. Яковлева называет детский дом единственным не только в России, но и в Европе учреждением, «которое действительно может изучать проявление психических механизмов

ребенка в условиях, наиболее гарантирующих объективность, и затем, исходя из такого изучения, базируясь на опыте психоанализа, искать методы воспитания социально ценной личности в коллективе, пользуясь как общепедагогическими, так и социальными знаниями в этой области». Итак, надежды на психоанализ как на средство воспитания социально ценной личности тогда ее не иссякли.

В ПОИСКАХ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Попытаемся разобраться в принципах, положенных в основу работы детского дома его создателями. Этому определенно поможет знакомство с рукописью профессора И. Д. Ермакова «Психоаналитический институт-лаборатория «Международная солидарность»[1].

Вспоминая о времени, предшествовавшем открытию детского дома, И. Д. Ермаков говорит о главной цели этого заведения как о «выработке методов изучения и воспитания полноценных в социальном смысле детей». Рассматривая психоанализ как метод освобождения ущербного человека от его социальной ограниченности, ученый считал наиболее целесообразным искать новые формы воспитания именно в коллективе, начиная работу с ребенком как можно раньше. «Наименее изученным и наиболее важным в смысле последующего здорового роста человека является возраст от рождения до 14 лет. Этот возраст характеризуется наиболее сильным проявлением инстинктов, лежащих в основе последующего развития ребенка. Неправильности в этот период имеют громадное значение (предрасположения и случайные переживания, эрогенные зоны). Свободное изживание в прегенитальном периоде соматических подкреплений к энергии психического развития дает возможность наилучшего, сильного и самостоятельного роста и аутоэротизации к объекту».

При наблюдении за объектом считалось важным воздерживаться от тенденциозных оценок его поведения и переживаний, так как отрицательное, неприличное для взрослого не есть таковое для ребенка. Для того чтобы ребенок мог свободно проявлять себя, должна быть создана атмосфера взаимного доверия и уважения. Путь социального развития представлялся И. Д. Ермакову в виде схемы: любовь к матери — любовь к воспитателю — любовь к другим. Используя терминологию Фрейда, он заметил, что «рост ребенка происходит путем ограничения для него «принципа удовольствия» перед «принципом реальности». Такое ограничение должно вестись самим ребенком (самостоятельность, свобода) и вести его не к чувству слабости, несостоятельности (основа невротического состояния), а к чувству овладения, сознательного достижения».

Важная роль отводилась И. Д. Ермаковым воспитательницам-руководительницам. Контактируя с ними (аналог известного в психоанализе перенесения), ребенок более успешно «связывается» с реальностью и

[1] Личный архив М. И. Давыдовой, дочери И. Д. Ермакова.

отказывается от некоторых удовольствий телесного характера (например, анальных), которые задерживают его развитие и делают асоциальным. Говоря о важности доверия ребенка к руководительнице, И. Д. Ермаков подчеркивал: «Многое, что служит исцелению больного от невроза, делается подвластным человеку того момента, когда он найдет в себе мужество открыться себе и другому, и наоборот, уходя от действительности, от возможности осознать, человек попадает во власть своих эгоистических, малоценных и не удовлетворяющих его процессов, ведущих к регрессии и фиксациям, невозможности сублимирования». Следует заметить, что выполнение всего этого требовало от руководительниц поистине гигантского труда. Помимо ежедневных 6–7-часовых дежурств в группе, каждая руководительница была обязана определенным образом наблюдать за детьми и вести дневник этих наблюдений, участвовать в заседаниях, посвященных педагогическим вопросам, а также в заседаниях Русского психоаналитического общества. Кроме того, каждая из них работала над какой-нибудь частью собранного материала. Так М. Г. Ульрих исследовала проявления основных черт личности ребенка в его творчестве, М. А. Егорова — проявления анальной эротики и особенности детских рисунков, В. Ф. Шмидт[1] собирала материалы о детских капризах и изучала особенности психоаналитического подхода к детям дошкольного возраста. Исследованием детских капризов занималась также М. С. Фридман.

Опыт русских коллег стал привлекать внимание западных психоаналитиков. В 1921 г. детский дом посетил профессор Папенгейм из Вены, в марте 1922 г. — профессор Эгертон из Лондона. В сентябре 1923 г. В. Ф. Шмидт вместе с мужем, академиком О. Ю. Шмидтом, курировавшим психоаналитический детский дом, выезжала за рубеж, чтобы ознакомить Международное общество психоаналитиков с достижениями в Москве. В сохранившемся отчете об этой поездке указано, что после нее в Лейпцигском Международном психоаналитическом издательстве была опубликована работа Веры Шмидт «Психоаналитическое воспитание в Советской России. Доклад о детском доме-лаборатории в Москве».

В августе 1923 г. детский дом посещали представители Коминтерна из Германии Хольц, Цейсер, Шмидт, Хейс[2].

Возникает вопрос, почему детскому дому, число воспитанников которого редко превышало 8–11 человек, уделялось столь пристальное внимание самых разных, довольно крупных организаций коммунистического толка

---

[1] В Центральном государственном архиве России удалось обнаружить несколько анкет с автобиографическими данными, заполненные рукой Веры Федоровны Шмидт. Из них мы узнаем, что она родилась 27 июля 1889 г., окончила Санкт-Петербургские высшие женские Бестужевские курсы. Работала в Киеве заведующей учетом мучных талонов в городском продовольственном комитете, некоторое время жила в Петрограде, затем вместе с мужем переехала в Москву. С 8 января 1918 г. работала в дошкольном отделе Комиссариата просвещения вначале в качестве делопроизводителя, а затем заведующей инструкторского подотдела и членом коллегии отдела.

[2] Личный архив М. И. Давыдовой.

(Коминтерн, профсоюз «Унион»), а также почему все, что касалось детского дома, обсуждалось ни больше ни меньше, как на коллегиях Наркомпроса, Главнауки, Главсоцвоса, причем в повестках дня всех этих заседаний вопросы о «Международной солидарности» стояли на первом месте. Председательствовал на них нередко сам нарком просвещения А. В. Луначарский, среди присутствовавших можно было встретить А. С. Бубнова, Н. И. Троцкую, А. П. Пинкевича, О. Ю. Шмидта, А. С. Курскую, В. Н. Яковлеву, Сергееву (инициалы отсутствуют), К. Н. Корнилова, П. П. Блонского и др.

По-видимому, в первые годы Советской власти вожди новой России действительно хотели использовать психоанализ в своих целях: создать с его помощью поколение послушных, с детства воспитанных в духе марксистско-ленинского учения людей-винтиков, готовых на все. Лишить человека совести, сомнений, моральных ценностей, дав ему взамен «классовые чувства» и работать в этом направлении, начиная чуть ли не сразу после рождения. Уместно добавить, что на тех же коллегиях все, касающееся психоанализа, но связанное с другими аспектами его применения, вызывало весьма скромный интерес заседавших. Исключение представляла начатая в мае 1924 г. Г. П. Вейсбергом разработка темы «Марксизм и психоанализ» в Государственном психоаналитическом институте, где для этого была организована подсекция социологии. Сохранилось свидетельство, что в работе этой подсекции активное участие принимал А. Р. Лурия.

Работа в бывшем особняке Рябушинского продолжалась. К весне 1924 г. вместе с И. Д. Ермаковым там трудились также С. Н. Шпильрейн, В. П. Володина, В. Ф. Шмидт, Л. Г. Егорова, Е. Р. Ульрих, М. А. Беклемишева, Б. С. Гефт, Е. С. Фридман, Р. Г. Папернова, Н. З. Сычугова, Л. С. Гешелина, А. Р. Лурия, Р. А. Авербух, М. В. Вульф, Б. Д. Фридман.

Вспомним, что практически с самого начала своего состояния возглавлявшееся И. Д. Ермаковым учреждение рассматривалось не только как детский дом, но и как институт. В нем в 1924 г. еженедельно проводились семинары, читались лекции. И. Д. Ермаков читал общий курс психоанализа и психотерапии для врачей, педагогов и социологов, а также вел семинар по гипнологии и изучению творчества. М. В. Вульф читал курс лекций по введению в психоанализ и проводил семинар по медицинскому психоанализу. Тему «Психоанализ подсознательного мышления» курировала С. Н. Шпильрейн, также проводившая семинар по детскому психоанализу для педагогов. Как видно из сохранившихся отчетов, в помещении института два раза в месяц проводились заседания Русского психоаналитического общества.

Наиболее четко цели института сформулированы в датированном 4 августа 1924 года «Положении» о его работе, где подчеркивалась необходимость научно-теоретических исследований в области психоанализа не только детей, но и взрослых.

Не ослабевал интерес к детскому дому и институту со стороны административных органов, отправлявших на Малую Никитскую, 6 все новые и

новые комиссии. 21 апреля 1924 г. одна из них под руководством заведующего Главнауки А. П. Пинкевича рассматривала вопрос об улучшении состояния детского дома-лаборатории. Было принято решение разделить штаты и помещение для института и детского дома «Международная солидарность», немного повысив зарплату сотрудникам, но сократив количество обслуживающего персонала. Рассматривался вопрос перехода на хозрасчет, и в связи с этим было предложено увеличить количество воспитанников до 15 человек в старшей и 5 человек в младшей группах. Но такая идея не встретила поддержки: было решено не увеличивать количество детей более 12 человек. Также было постановлено взимать постоянные взносы с родителей воспитанников. Предложение расширить задачи института в области педологии было отклонено. Прошло несколько лет существования института-лаборатории «Международная солидарность», а загадочный «новый человек» все не появлялся. Психоанализ, на который вначале «поставили» некоторые вожди советской России, уже начинал вызывать у них раздражение.

НЕПРОАНАЛИЗИРОВАННЫЕ ПСИХОАНАЛИТИКИ И МАТЕРИ-КОММУНИСТКИ

В июне 1924 г. в кураторий при психоаналитическом институте поступило коллективное обращение от основных сотрудников детского дома-лаборатории «Международная солидарность», где говорилось о необходимости для педагогов, работающих там, образования, адекватного проводимой в детском доме психоаналитической работе. Главный недостаток, по мнению авторов обращения, в том, что ни один из работавших с детьми сам не проходил психоанализа. В отношении дальнейшей работы подчеркивалась ее полная невозможность, основанная на перенесении, сопряженном с огромной внутренней зависимостью от объекта этого перенесения (в данном случае профессора И. Д. Ермакова) и обострением «всевозможных психических конфликтов, связанных с отношением к отцу или матери в раннем детстве и давно вытесненных из сознания».

Далее в обращении речь шла о том, что это перенесение, будучи неправильно использованным, превратилось из положительного в отрицательное и повлекло за собой ряд печальных последствий. Педагоги указывали на огромное чувство зависимости от И. Д. Ермакова, которое, как они считали, ничем нельзя преодолеть, так как никто из них «не был предварительно проанализирован».

В заявлении отчетливо звучали нотки неудовлетворенности педагогов результатами своей работы. Со слов авторов, весь накопленный за три года деятельности детского дома материал собирался лишь для одного человека — профессора И. Д. Ермакова, работа которого над этим материалом совершенно не связана с работой дома и ни в какой степени не помогает продвижению вперед подготовки к психоаналитическим наблюдениям над детьми.

Важное место в тексте заявления занимает описание условий работы педагогов в детском доме. По мнению авторов, педагоги дезорганизованы, оторваны как от родителей, так и от педагогических общественных кругов. В связи с этим указывалось на невозможность воспитывать в таких условиях социально ценную личность. В результате этого естественное ухудшение педагогических результатов, говорится далее, может быть неправильно отнесено за счет психоаналитического подхода. В заявлении также указывалось на большую текучесть кадров — за три года работы в детском доме сменилось около 50-ти руководительниц-воспитательниц. В заключении был сформулирован ряд предложений в качестве «паллиативы» впредь до подготовки нового персонала.

Прежде всего, предлагалось поставить во главе детского дома человека с большим общественно-педагогическим опытом и привлечь для консультаций некоторых членов Российского психоаналитического общества, но только по соглашению с педагогическим коллективом, а также наладить контакты с другими педагогическими коллективами Москвы, материалы исследований должны стать доступными для других психоаналитиков. Было предложено также организовать при психоаналитическом институте специальную подготовку будущего персонала для детского дома со сроком обучения не менее 1–2 лет. Подчеркивалось, что обучающиеся не должны входить в штат «Международной солидарности», а могут работать в других учреждениях и посвящать подготовке свои свободные часы.

В результате этого обращения вновь была созвана комиссия Главнауки. Сохранился протокол ее заседания от 8 июля 1924 г. На нем присутствовали А. П. Пинкевич (председатель), И. Д. Ермаков, Н. И. Троцкая, А. С. Курская, В. Ф. Шмидт. Обсуждался вопрос о дальнейшей судьбе детского дома. Комиссия признала целесообразным начать психоаналитическую подготовку педагогов с обязательным прохождением личного психоанализа. Было решено сохранить территориальное объединение детского дома и института при условии обеспечения возможности для психоаналитического института вести наблюдение и ставить опыты в этом доме, а также сохранить преемственность в собирании материала. Институту предписывалось, не вмешиваясь активно в педагогическую работу, по запросам детского дома давать психоаналитические консультации. Детский дом должен оставаться в ведении Главнауки, и курировать его должен представитель психоаналитического института. Было решено оставить институту 6 штатных единиц за детским домом и открыть детский сад на 8–10 человек. И еще один момент вызывает здесь несомненный интерес.

Всем известно, сколь актуальной была в Москве в 20-е годы проблема размещения учреждений. Прекрасно оснащенное, просторное здание, которое занимали психоаналитический институт и детский дом в самом центре Москвы, не могло не привлекать завистливых взглядов. Известно, что к середине 20-х годов в России заметно разросся бюрократический аппарат и укрепились позиции партократии. Представители этих групп, к тому времени

уже полностью уверовавшие в свою особую миссию освободителей угнетенного человечества, становились все более бесцеремонными в завоевании для себя новых и новых жизненных благ. Вкусы представителей новой власти оказывались довольно взыскательными. В выборе зданий, поспешно брошенных бывшими хозяевами, для райкомов партии, исполкомов, музеев с революционными темами экспозиций принцип «кто был ничем, тот станет всем» находил свое реальное воплощение.

1 июля 1924 г., незадолго до упоминавшегося заседания комиссии по улучшению работы детского дома, в Главнауку поступило письмо от административной группы матерей-коммунисток 1-го дома ВЦИКа и Кремля с просьбой предоставить помещение для детского сада на территории психоаналитического института. Подчеркивалось, что матери не против использования детей из детского сада для научных целей института. Письмо было подписано Сергеевой и Кедровой. Эта просьба в самом скором времени была удовлетворена. Через три недели поступило еще одно послание в Главнауку за теми же подписями. Теперь это уже жалоба, указывающая на «ненормальность» в работе детского дома. За эти три недели жены большевистских лидеров успели создать даже инициативную группу, обследовавшую окулированное для своих детей помещение. В жалобе с неподдельным возмущением констатируется, что, во-первых, профессор И. Д. Ермаков и другие врачи ведут ежедневный прием больных, которые соприкасаются с детьми. Во-вторых, наверху находится местком, куда также постоянно ходят люди (заметим, что незадолго до этого тот же местком, точнее, его члены выставили из тесной комнатушки, о которой идет речь, С. Н. Шпильрейн, принимавшую там одно время больных). Таким образом, существование первого в мировой истории психоаналитического детского дома близилось к концу.

ПРИБЛИЖАЯСЬ К ФИНАЛУ

Итак, к концу 1924 г. психоаналитически ориентированные специалисты фактически сдали свои позиции в детском доме «Международная солидарность», так и не успев их укрепить. В последних числах ноября Главнаука утверждает на должность заведующей педагогической частью детского дома М. К. Жукову. Упоминаний об участии И. Д. Ермакова в проводившихся там после этого работах в документах больше не встречается. Отношение Русского психоаналитического общества к «Международной солидарности» в то время можно представить, прочтя письмо одного из его членов, академика О. Ю. Шмидта заместителю наркома просвещения В. Н. Яковлевой и заведующему Главнаукой Ф. Н. Петрову от 20 ноября 1924 г. Академик констатировал, что психоаналитики не имеют больше никакого влияния на детский дом и отказался нести ответственность за его работу.

Одна из характерных примет московской жизни тех лет — так называемая «разгрузка столицы», сводившаяся попросту к изгнанию из

города ряда учреждений. Подобная угроза к зиме 1924–1925 гг. нависла и над психоаналитическим институтом. В конце концов он был оставлен в Москве, но здание на Малой Никитской пришлось покинуть. «Освобожденное помещение от психоаналитического института, — говорится в постановлении заседания комиссии по разгрузке г. Москвы от 31 января 1925 г., — передать детскому дому «Международная солидарность», закрепив за последним все владение № 6 по М. Никитской улице». Еще одна причина, по которой институт все же был оставлен в Москве — предложение председателя Наркомпроса о слиянии психоаналитического института с одним из соответствующих институтов I МГУ. Наркомпрос в скором времени конкретизирует это предложение: «Психоаналитический институт с успехом может продолжать свою работу, будучи соединен в виде отдела с институтом Экспериментальной психологии, входящим в состав Ассоциации при Факультете общественных наук».

Об отношении Главнауки к детскому дому можно судить, познакомившись с докладной запиской в коллегию Наркомпроса исполнявшего обязанности заведующего Главнаукой А. П. Пинкевича от 2 марта 1925 г. В начале документа указывалось на «трение» в отношениях института и его лаборатории «Международная солидарность». Фактически, как отмечено в документе, лаборатория работает как обыкновенный детский дом, особенно в последнее время, когда накопилось много материала, остающегося без проработки. Было подчеркнуто, что работа лаборатории потеряла научное значение, оторвавшись от института. По мнению А. П. Пинкевича, для организации успешной работы штат детского дома должен быть укомплектован институтскими работниками, а не «обыкновенными детдомовскими руководительницами». Также руководитель Главнауки считал необходимым предоставление помещения институту. Из текста документа мы узнаем, что после выселения из дома на Малой Никитской имущество института попросту было сложено в один из подвалов Политехнического музея, откуда, разумеется, периодически расхищалось. Это способствовало полному прекращению психоаналитической работы в доме-лаборатории. Докладная записка заканчивалась заявлением о необходимости считать детский дом и институт юридически разделенными и существующими отдельно... Что же касается института, то он, безусловно, должен быть сохранен в виде отдела при институте экспериментальной психологии и оставлен в Москве».

Эту мысль подтвердила комиссия Главнауки, вскоре обследовавшая детский дом и пришедшая к малоутешительным выводам: «...персонал слабо ориентирован в том, как нужно налаживать и вести научную работу... Заведующая, посещая Главнауку, вынесла впечатление, что служащие Главнауки должны выработать для детдома производственный научный план... (заведующая. — *Авт*.) и до сих пор остается в состоянии ожидания...» Отмечено, что занимаемое помещение слишком велико для 12–13 детей, их должно быть больше. «Организация научной работы в данном учреждении вряд ли возможна, а потому... данный детдом необходимо передать в ведение

Главсоцвоса». Под заключением стоят подписи А. В. Цитовича, А. В. Стрельцова и П. И. Карпова. Добавим, что к этому времени почти все занимавшиеся когда-то психоаналитической работой руководители-воспитатели уже покинули детский дом.

Судьба детского дома «Международная солидарность» окончательно решилась на заседании коллегии Наркомпроса 13 мая 1925 г.: детский дом в качестве лаборатории института было решено ликвидировать, распределив детей по другим учреждениям.

Впоследствии детский дом еще продолжал именоваться «Международная солидарность», хотя с 1924 г., по нашему мнению, ему правильнее было бы дать название «имени матерей-коммунисток 1 Дома ВЦИКа и Кремля». В то время в число воспитанников детского дома входили сын И. В. Сталина — Василий, а также дети Ф. А. Сергеева (Артема), Д. И. Курского, М. Л. Рухимовича, М. В. Фрунзе. Однако в детский дом они пришли уже после того, как он перестал иметь отношение к психоанализу, и мы не должны об этом забывать.

Итоги работы детского дома «Международная солидарность» подведены Верой Федоровной Шмидт в написанной ею летом 1925 г. докладной записке, посвященной психоаналитическому институту: «Психоанализ положил начало действительно научному изучению психики больных, страдающих так называемыми психоневрозами... Метод лечения психоанализом является *единственным* методом не только облегчить страдание больного или устранить тот или иной симптом, но и сделать больного действительно работоспособным членом общества... Психоанализ всегда рассматривал человека как социальную единицу в его отношениях со средой... и старался помочь раскрыть совершенно новые области в вопросе изучения ребенка и педагогическом подходе к нему». Далее В. Ф. Шмидт пишет о том, что за время работы детского дома был выработан ряд методов и приемов полового воспитания детей, предохраняющих от заболевания психоневрозами в будущем. В документе говорится также о предполагаемой работе над «трудными» детьми именно с позиций психоанализа путем создания специальной консультации. В докладной записке есть указание на огромное количество материала о развитии ребенка, собранного сотрудниками детского дома. «Материал этот в настоящее время обрабатывается, и в скором времени появится ряд работ, касающихся тех или иных сторон жизни ребенка». Работы эти, естественно, так и не вышли в свет.

14 августа 1925 г. Совет Народных Комиссаров принимает решение о ликвидации Государственного психоаналитического института как самостоятельного учреждения. Предложение Наркомпроса о включении института в состав Ассоциации общественных наук при I МГУ отклоняется. Решением президиума коллегии Народного комиссариата просвещения от 25 августа 1925 г. вместо упраздненного психоаналитического института было предложено создать психоаналитический отдел в Психологическом институте. Директор института К. Н. Корнилов категорически отказался от

этого и предложил психоаналитической секции перейти в секцию психопатологии. Такое решение вопроса ставило под сомнение дальнейшую целесообразность и эффективность работ в области психоанализа в России. Сотрудники бывшего психоаналитического института М. В. Вульф и Р. А. Авербух обратились с заявлением в Главнауку, в котором подчеркивалось, что такая реорганизация психоаналитической секции равнозначна лишению ее возможности вести «какую бы то ни было плодотворную работу». Авторы настаивали на сохранении самостоятельной психоаналитической секции.

13 ноября 1925 г. М. В. Вульф на методическом совещании в научном отделе Главнауки прочел доклад о планах психоаналитической секции. Важную роль в ее работе должны были играть исследования в области педагогики. Вот основные направления исследований:

«а) разработка материалов бывшего дома-лаборатории (из дневников детского дома делаются выписки, которые группируются по следующим вопросам: детская речь, проявления детской сексуальности, проявления зрительного комплекса, детское мышление, детское творчество, развитие исследовательских влечений у детей в возрасте от одного года до четырех лет);

б) наблюдение над развитием детской сексуальности на живом материале (в детских домах и семьях);

в) исследование психоаналитическим методом трудных и невротических ветвей для отыскания причин и неправильностей в окружающей среде, влияющей на развитие невроза;

г) проведение семинаров для педагогов по вопросам применения психоанализа в педагогике;

д) разработка отдельных вопросов педагогики в связи с психоанализом. Предлагаются следующие работы:

1) Что нового может дать психоанализ педагогике.

2) Развитие у ребенка исследовательских стремлений. Влияние этих стремлений на постепенно увеличивающуюся связь ребенка с окружающей действительностью (ребенок в возрасте от 0 до 5 лет).

3) Разработка дневника матери в первом годе жизни ребенка».

Но все призывы М. Вульфа были тогда гласом вопиющего в пустыне. Психоанализ в России во второй половине 20-х годов был уже не ко двору. К. Н. Корнилов, директор Института психологии, известного рупора идей большевизма, ответил на это уже откровенно политическими обвинениями. Фрагмент подписанной им докладной записки в коллегию Наркомпроса, говорит сам за себя: «Считая психоанализ как цельную систему, как миросозерцание в области психологии, принципиально неприемлемым, психоаналитические задачи несовместимы с задачами института, который стремится изучить человеческую психику с точки зрения марксизма, диалектического материализма... коллегия Государственного института экспериментальной психологии считает излишним создание специального психоаналитического отдела в составе института».

Все, не связанное с марксизмом, было нежизнеспособно в России тех лет. И, подобно детскому дому «Международная солидарность», канул в лету Государственный психоаналитический институт, 20-е годы были на излете. Русское психоаналитическое общество, существовавшее уже чисто номинально, вступит в новое десятилетие, чтобы быть окончательно ликвидированным 27 июля 1930 года <...>.

Российский психоаналитический вестник,
1992, № 2, с. 9–32 (Публикуется с сокращениями)

Человек Моисей и монотеистическая религия (предисловие к книге)

В. В. Бибихин

Когда в моем переводе вышло «Будущее одной иллюзии» Фрейда, трактат, объявляющий религию невротической фантазией, некоторые православные стали присматриваться ко мне с удивлением, если не хуже. Зачем возвращаться сейчас снова к автору, как известно, примитивному, устарелому, несерьезному, ненаучному? Именно по этим параметрам предпочитает теперь списывать Зигмунда Фрейда со счетов просвещенная вера, не пускаясь в спор, явно ниже ее достоинства, с его откровенным безбожием. Для меня здесь отношение к Фрейду — индикатор, жесткий, но тем более надежный. Не задуматься вместе с ним о качестве нашего подозрительно бархатистого Бога, не остаться после этого навсегда благодарным «психоаналитику» за его грубую работу трубочиста — значит беречь еще свою блаженную слепоту, хорошо если честную, и стоять еще в глухой обороне перед той стихией («грозовым океаном», Грэм Грин), каким оказывается неподслащенная религия, когда к ней относятся всерьез.

Теперь я на свою голову перевожу вдобавок еще и последний трактат Фрейда «Человек Моисей и монотеистическая религия», или, как он назван в английском переводе, «Моисей и монотеизм» (уже переведенный на русский язык недавно в Израиле, но я об этом не знал). От объяснений, почему я это делаю, мне уже не отвертеться. «Эта книга невероятно плоха... Не выйди она из-под пера Зигмунда Фрейда, она едва ли увидела бы когда-нибудь свет»[1]. Обстоятельства ее написания — на фоне немецких и русских событий 1930-х гг., под угрозой оккупации Австрии, вскоре осуществившейся, затем под британским покровительством — изложены в тексте, переплетены с ее темами.

Казалось бы, Фрейд тут выступает прежним разоблачителем религии, как в «Тотеме и табу» (1913), по крайней мере он сам так заявляет, — но на деле совсем другой. О переломе предвещала уже явная оборванность, незаконченность (словно человек посреди разговора вдруг замолк, задумавшись о другом) «Будущего одной иллюзии». По Эриху Фромму, к середине 1930-х гг. с Фрейдом происходит огромная перемена. В работе «Почему война?» (1933) он убеждает культурное общество делать все возможное для поощрения эмоциональных связей между людьми, ищет отношения к другому как к драгоценному объекту без сексуальной цели, любви к ближнему как к самому себе, то есть идентификации с ним. «Фрейд, враг религии, которую он называл иллюзией, мешающей человеку достичь

[1] *Bakan D.* Sigmund Freud and the Jewish mystical tradition. Princeton etc.: Nostrand, 1958, p. 137.

зрелости и независимости, теперь повторяет основополагающие заповеди, встречающиеся во всех великих человечных религиях[1].

Вовсе не так, что старый безбожник ослаб (глубокая старость, изгнание, рак ротовой полости) и пошел на компромисс. Нет, презрение к иллюзиям, которыми человечество прикрывает то, что с ним по-настоящему происходит, даже обострилось, зоркость к нервным маскирующим конструкциям, за которыми оно прячется от себя, возросла. Но в либидо, вулканической энергии, от которой всё в человеческой истории, открылась неожиданная сторона. Первозданное влечение расщепилось на два, совершенно несовместимых, и рядом с поблекшим вдруг половым влечением возвысилась привязанность более строгого рода, единая со страхом, вернее, с ужасом, по существу неопределимая, сама все безусловно определяющая для человеческого существа, нечто подобное экстатической религиозности. Доисторический ужас — не функция полового влечения; наоборот, либидо в смысле привычной эротики теперь ютится на задворках первобытного страха, почти уже не смея претендовать на самостоятельность.

В повороте от психоанализа к мистическому богословию — важность последней работы Фрейда. Ср. его последнюю записку, найденную на столе покойного: «Мистика, темное самовосприятие царства, простирающегося за пределами Я»[2]. Происходит нечто вроде обратного пересчета психоанализа на величины религиозно-мистического опыта.

В качестве научной египтологии эта работа — «псевдоисторическое гадание». Но «в качестве проповеди — это возрождение еврейского хасидизма и христианского мистицизма... Фрейд, еврей-атеист, стал благодаря этому одним из отцов современной католической и протестантской богословской антропологии»[3]. Египтологические «допущения» (вся историческая реконструкция тут строится на «презумпциях») останутся гипотезой. Не в них суть трактата, автор которого чувствует гораздо более прочную почву под ногами, чем несколько изученных им исследований. Мы поэтому отказались от удвоения авторских примечаний, обозначенных звездочками, пронумерованными переводческими и издательскими примечаниями и висели нужные уточнения и отсутствующие у самого Фрейда указания на источники непосредственно в его текст. Не отвлекаясь на «аппарат», удобнее следить за мыслью Фрейда-богослова, противника не веры, а, по выражению одного из его исследователей, тощего религиозного пустословия, в котором больше атеизма, чем веры, и которому «Фрейд выкрикнул в лицо великое слово: Ты не должен призывать имени Господа всуе»[4].

Мы знали Фрейда как переводчика человеческой культуры, религии, искусства на эсперанто психоанализа. Теперь, когда его темой стал создатель

---

[1] *Fromm E.* Greatness and limitations of Freud's thought. N. Y.: Harper and Row, 1980, p. 107.

[2] Gesammelte Werke, XVII, S. 152.

[3] *Newell W. L.* The secular magi: Marx, Freud, and Nietzsche on religion. N. Y.: The Pilgrim press, 1986, p. 129, 135.

[4] *Marcuse L.* Sigmund Freud. Hamburg: Rowohlt, 1956, S. 66, 73.

центрального библейского Пятикнижия, можно было подумать, что самой Библии, прикасаться к которой Фрейд до сих пор избегал, намеренно предпочитая для целей своего анализа материал греческого мифа, предстоит перевод на язык проницательного и трезвого рационализма. Произошло другое. Библейский Моисей оказался у него непереводимым, а открывшееся через него отношение человека к божественному Отцу — ключом к пониманию психоаналитического эсперанто. Библия ускользнула от научно-рациональной транскрипции. Она оказалась укоренена в живом предании, которое в свою очередь тянется от прадревности, чья реконструкция обнаруживает нестареющую стихию, властно вторгающуюся в современность. Первенство живого предания над писанием утверждается Фрейдом с не меньшей энергией, чем у Августина, говорившего, что он и Евангелию не поверил бы, не вели ему того Церковь, понятая как непрерывно продолжающаяся от ее основателя традиция. Конструкции Фрейда факультативны для него самого, но его «предыстория» для него — не гипотеза, не конструкт, а пружина человеческой истории, вернее, вихрь, который задевает и сегодня независимо от усилий, прилагаемых современностью для ухода от древнего огня.

Христианское причастие, съедение плоти Первочеловека, есть повторение тотемной трапезы, каннибализма, радостно догадываются «свободомыслящие» атеисты — и попадают в ловушку, выбраться из которой с честью уже редко кому удается. Фрейд тоже бесстрашно заходит в нее, но спасается не смиренным склонением перед чашей причастия, не неохотным признанием «этической ценности» Церкви, а вглядыванием в прадревность. Что то был за «первобытный человек», какие страсти правили тем «дикарем»? Откуда ни с чем не соразмерный ужас перед тотемным животным или перед праотцем, лидером первобытной орды? Откуда ни с чем не сравнимый страх? В самом деле, у обреченной курицы его нет, хотя угроза ей от хозяйки больше, чем инфанту первобытной орды — от Хозяина. Природа древнего ужаса вовсе не объяснена. Фрейд снова и снова возвращается к нему и, наконец, видит поразительную вещь. Этот страх абсолютен, безусловен, то есть не вытекает из реальных обстоятельств, то есть необъясним, то есть первичен. Фрейд одновременно и поражается наивности современного «каннибализма», совершаемого каждодневно в открытых храмах, — и убеждается, что ничего более основного, исходного, «объясняющего» в человеческом существе глубже ужасающей привязанности к Отцу мы не найдем.

Еврейство, с которым в конце концов почтительно отождествляет себя Фрейд, велико в его глазах именно тем, что не разменяло того первобытного ужаса-благоговения на мелкую монету, не извлекло его понапрасну наружу из тайников. Еврей — носитель могучего «бессознательного», не собирающегося разоружаться. Фрейд «анализирует» бессознательное, но кончает его восстановлением во всей нерушимой, неприступной силе. Фрейдовское аналитическое вглядывание в недра психики не увидит там ничего прочнее и основательнее? благоговейной, ужасающей привязанности

к Отцу. Фрейдовское «воспоминание» раннего опыта человечества (похожее на платоновское воспоминание идей) ничего глубже раннего потрясающего отношения к Отцу не вспомнит. Люди убили Праотца. Этот факт почему-то несомненный, и люди обречены теперь без конца о нем вспоминать. Правда совершившегося убийства для Фрейда — раньше всех доказательств, наоборот, что-то доказать или показать в современном человеке можно только ею. Почему Праотец должен был быть таким страшным, таким размашисто-свирепым, беспредельным? Почему он должен был быть для первобытного человека именно всем, — настолько, что после его убийства остались только осколки прежней, бесспорной, жуткой цельности существования в непрестанном страхе? Люди ее не выдержали, они убили Отца. Их уделом стала жалкая беспомощность рассудка. Они расстались с мощью, ушедшей теперь в бессознательное, которое до сих пор одно только еще и живо древней распоясанностью Господина. Непреходящее, надолго вперед запасенное значение Фрейда в том, что он восстановил среди слащавого христианского и послехристианского гуманистического мира понимание жути первобытного Отца, заставил почувствовать, как на самом деле сковывает человека то, что античность еще знала под именем «страха Божия».

А как же «любовь к Отцу»? Она есть, и она неотделима от страха, но она не только другая, чем «либидо», а прямо противоположна «либидо». Шлагбаум между одной и другой привязанностью кладется запретом инцеста — еще одной древней реалией, рационально обосновать которую не удается. О запрете инцеста ничего не знают животные. Характерным образом инцест не считается юридически преступлением в современных культурных обществах. Запрет тут глубже физиологии, юриспруденции, социальной целесообразности. Этим запретом охраняется неприступность Отца, нарушаемая в случае инцеста. Отец — безусловно, Другой. Посягательство на его неприступность воспрещается той же иррациональной, необъяснимой силой, которая создала институт Отца. В этой связи можно было бы заметить, что норма именования по отчеству, существующая, похоже, только в России, внедряет у нас институт Отца в каждодневный быт так, как это не делается больше нигде в мире; точно так же, по «принципу» амбивалентности наша матерная брань, основная и самая распространенная формула которой уничтожает отцовство (произносящий ее объявляет себя одновременно занявшим место отца и заведомо не берущим на себя ответственность отца), тоже оказывается исключительной особенностью России и окружает институт Отца жутью.

Реалия запрета на инцест, только что упомянутые нами реалии русского «отчества» как обязательного у нас для полного именования человека и нашего «мата» выразительнее всякого теоретизирования кладут непереходимую границу между либидо, сладкой привязанностью к партнеру, и ужасающей привязанностью к Отцу. Богословам, привыкшим запросто упоминать рядом с «любовью к Богу» «любовь к человеку», следовало бы задуматься о непереходимой пропасти между двумя любовями. Праотец и

запрет — две вещи нераздельные настолько, что бессмысленно говорить, праотцем ли создан запрет или запретом — праотец. «Не видна причина запрета», — говорит Фрейд, и заставляет задуматься о том, что она и в принципе не может и не должна быть видна; что тут мы прикасаемся к беспричинному. Мы не знаем, почему — мы не видим этого в животном мире, — но любовь к Отцу и всему, что идет от Отца, к матери, сестре, брату должна быть другой, чем та, которая некогда связала отца с матерью. Я, родившийся, во всяком случае не первый. Есть первое меня. Я тех прав не имею, и вздумать иметь их не могу иначе, как только сам дерзко замахнувшись на роль отца — то есть, иными словами, упрочивая тот самый институт, против которого восстал, то есть воплощая в самом себе стихию ужаса, благоговения, страха. Так или иначе, я оказываюсь не один. Другой, Отец, или, в случае моей дерзкой заносчивости, само Отцовство, до которого я рискнул дотянуться, опередили меня. Я с самого начала привязан к отношению, которого сам не избирал, в котором впервые увидел себя собой.
Говоря о неумолимом хозяине первобытной орды, Фрейд, как может, восстанавливает правду того Отца, страх перед которым — не игрушечный, не искусственный, а прохватывающий до костей, пробирающий до спазма. Кто нас породил, тот нами распоряжается вполне. От этой правды мы можем только спрятать голову в песок. Он, не мы, был в начале. Он — первый, мы — маленькие и всегда останемся детьми. Осмелимся сказать, что Фрейд, похоже, только один во всем XX в. еще помнит, что такое настоящий страх, от страха перед которым богословие раскрасило себя в розовые тона. Фрейд имеет потому право издеваться над исследователями, с высоты Бога заранее считающими, что проблемы мира решены.

Праотец первобытной орды был окружен в свои прадревние времена страхом. Первое «переживание» раннего члена орды было таким важным, что навсегда въелось в человеческое существо. Страх немедленного уничтожения перед лицом свирепой, непомерной, нескованной жесткости, не смягченной обстоятельствами или просто природой. Такой Отец, с таким размахом, почему-то всегда заранее уже был. Иначе говоря, религиозный феномен с самого начала всегда уже был. Ранний Отец врезался в душу навсегда, прежде всего, прочнее всего. Этим он и навсегда реабилитирован как первореальность. Тот Отец вытеснил эмпирического отца настолько, что до сих пор сквозь образ эмпирического отца, обычно совсем не лютого (отец самого Фрейда был мягким человеком) просвечивает жестким излучением прообраз Праотца. Снова и снова по какой-то причине, даже уже без реального обоснования, происходит это совмещение образов. И как эмпирическому отцу суждено попасть в водоворот того прадревнего отношения, так прогресс в религии происходит только путем возвращения к неразбавленному, детскому ужасу перед первым Отцом. Он, страшный, действующий наотмашь, все равно всех желаннее; в нем одном все успокоение. Безусловность, абсолют — вот слово, которым Фрейд невзначай описывает неисчерпаемую глубину чувств ребенка к Родителю, возвращающуюся потом лишь отчасти в религиозном экстазе.

Присутствует ли ранний экстатический ужас в рационализме самого Фрейда? Он присутствует тут как бездна «бессознательного», которая диктует постоянное умное усилие, и не любое, а именно вглядывающееся в сторону бездны, разбирающее ее.

В конце трактата развертывается величественная и заставляющая о многом задуматься картина того, как чувство вины охватило в решающие для позднейшей европейской истории столетия все средиземноморские народы. Историческое человечество движется под Богом, под тенью раннего ужаса, который никуда не делся и никуда исчезнуть не может. Фрейд тут поднимается до библейской эпики. Только через такое восприятие истории человечества богословие имеет шанс возвратиться к своей основе. Тема и достоинство книги Фрейда — в этом возвращении к гневному невыносимому Богу, который не дает к себе, неприступному, приблизиться таким же образом, каким человек легко приближается к любимым земным вещам.

«Разве вы не знаете, — сказал о себе однажды Фрейд, — что я дьявол? Всю свою жизнь мне приходилось играть роль дьявола, чтобы другие могли из материалов, которые я притаскивал, строить прекраснейшие храмы». Что его отношение к храму могло быть и более интимным, говорит другая его запись: «Мне часто кажется, что я унаследовал всю страсть предков, защищавших свой Храм, как если бы и я тоже мог радостно отдать свою жизнь за великое дело».

Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура.
М., 1992, с. 283–289

Пушкин: толкование сновидений

С. Н. Зимовец

Основной парадокс классического психоанализа заключается, пожалуй, в том, что, создав ключ к раскрытию сложных травматических комплексов психической жизни, он тем не менее сам оказался подверженным комплексу. И этот комплекс — комплекс собственного рождения. Психоанализ в качестве науки возник, в отличие от большинства прочих наук, при гениальном усилии одного человека — Зигмунда Фрейда. Если другие науки претерпели длительное историческое становление и их легитимация осуществлялась не один век и не одной сотней ученых, то психоанализ имеет конкретное авторское происхождение и сейчас ему не исполнилось еще ста лет. Отсюда чрезвычайные усилия Фрейда и его последователей по учреждению психоанализа как такового в качестве науки. Достаточно просмотреть терминологически-понятийную историю становления психоанализа, чтобы увидеть множественные, по-мичурински настойчивые попытки привить последний к могучему древу позитивной науки, привить собственную генеалогическую ветвь к его легитимирующему стволу. Во многом эти попытки имели формальный и даже фиктивный вид. И все же более или менее достаточно обоснованным концептом Фрейда была психоаналитическая теория невроза, но и эта теория носила в то время существенный новаторский характер, кардинально расходясь с классикой конца XIX — начала XX веков. И лишь только одна психоаналитическая линия могла генеалогически подтвердиться в научно-историческом ракурсе: толкование сновидений. Фрейд в этом отношении проводит глобальную работу: он исследует представления о сновидениях от античности до начала двадцатого века, пытаясь показать, что его способ интерпретации имеет солидный исторический и теоретический фундамент.

Вторым симптоматическим мотивом психоанализа являлось представление о собственном прорыве к максимальной реальности, к предельному истоку человеческого поведения, к скрытому мотору его поступков, его психической жизнедеятельности. И то, что эта максимальная реальность оказалась чрезвычайно биологизированной, физикалистской, отнюдь не случайно. Подводя объяснительный принцип под психические процессы (пусть даже в их клинических проявлениях), психоанализ упирается в биологию потому, что он пытается своей концепцией бессознательного полностью покрыть мотивационную сферу, предельным горизонтом которой остается только биологическое бытие человека. Если же признать, что это бытие имеет культурный характер, то тайна человека остается все еще нераскрытой, а психоаналитические усилия в ее познании — неокончательными, то есть, по существу, во многом незавершенными.

Но вернемся к первому случаю. Толкование сновидений, тщательно проработанное в одноименной книге Фрейда, безусловно, имеет собственную богатую родословную. Более того, можно обнаружить превосходные

образчики интерпретаций снов, осуществленные совершенно в психоаналитическом духе, но появившиеся задолго до Фрейда. Значительный интерес здесь представляет русская культура, всегда с особым пристрастием относившаяся к феноменам сновидения. Мало того, все российские женщины дворянского сословия — начиная с середины XVIII века — имели в постоянном пользовании «Сонники», толкующие те или иные образы снов (особенно популярен был «Сонник» Мартына Задеки). Тему сна не обошли ни русская классическая музыка, ни живопись, ни литература.

И наиболее «психоаналитичным» в этом отношении был, конечно, А. С. Пушкин, хотя мы вместе с тем вынуждены воздать должное «психоаналитическому» гению Гоголя, Чернышевского, Достоевского и Толстого.

В середине пятой главы «Евгения Онегина», то есть в центре всего произведения Пушкина, дано замечательное описание сна Татьяны Лариной, пронизанного скрытыми девичьими предчувствиями, инфантильными фобиями и смутным эротическим томлением. Это сновидение Татьяны затем развернется в явное содержание и основную сюжетную линию пушкинского повествования. Таким образом, конец пятой главы и начало шестой построены как толкование предшествующего сновидения, как некая психоаналитическая процедура, устанавливающая связи между образами сновидения и реальным планом событий в рамках литературного сюжета.
Последовательность картин сновидения имеет следующую структуру: 1) Татьяна в лесу, ведомая медведем; 2) буйный пир в шалаше; 3) сексуальные притязания Евгения; 4) ссора Онегина с Ленским; 5) убийство последнего. Структура последующего нарратива: 1) праздник именин у Лариных; 2) приезд Ленского и Онегина; 3) флирт Онегина с Ольгой; 4) вызов на дуэль; 5) смерть Ленского. На первый взгляд эти структуры находятся в достаточно адекватной корреляции и лишь только более внимательное рассмотрение показывает некоторые существенные различия в топологии общих элементов. Это говорит о том, что Пушкин не следует простой развертке повествования, калькирующего последовательность сцен сна, а переструктурирует его в логике интерпретации образов сновидения, противополагая тем самым внутренней образной хронологии сна интерпретационную логику повествования.

В рамках этого различия Пушкин не подвергает никакой интерпретации в канве реальных событий самый первый и наиболее интригующий образ сновидения — медведя[1]. Несомненно, что этот образ представляет собой специфическое сгущение, образовавшееся не только в самом облике, но и в функциональном назначении медведя. Действительно, кто и что работает в этом образе сновидения?

Символика начала сновидения свидетельствует о том, что Татьяна ищет свидания — конечно же — с Онегиным. Бурный, незамерзающий ручей

[1] Мы опускаем фольклорные и культурологические толкования этого образа, поскольку нас интересует образ медведя не сам по себе, а психологическое и функциональное его значение - в совокупности с другими образами сновидения — для скрытой, бессознательной мотивации желаний Татьяны.

(«досадная разлука») на ее пути — это сумма неотменяемых обстоятельств, препятствующих соединению с любимым[1]. В качестве последней надежды два берега соединяет шаткий, ненадежный мосток, который Татьяна никак не может преодолеть самостоятельно. И вот здесь появляется чудесный зверь, недвусмысленно предлагающий свою помощь. Преодолевая смятение и страхи, девушка все-таки принимает эту помощь, но затем — бег-ускользание от медведя. В конце концов, выбившись из сил, Татьяна падает-таки в устрашающие объятия зверя. И тот несет ее, «бесчувственно-покорную», к шалашу в дебрях леса «погреться» у своего «кума».

Юрий Лотман в своих знаменитых комментариях к «Евгению Онегину» дает великолепные, но чрезвычайно рафинированные культурологические толкования этого эпизода, местами граничащие с неоправданной дистанцированностью от сюжетных перипетий, психологических реалий и конкретных переживаний персонажей[2]. В целом же в своих комментариях ко сну Татьяны Лотман склоняется к его прототипии с сюжетами о герое-разбойнике и святочных отношениях гадающей «на сон» девицы с «нечистой силой». Объяснительный потенциал свадебного обряда хотя и заявлен комментатором (вслед за А. Потебней), но остается фрагментарным и маргинальным по отношению к указанной прототипии.

Между тем события первой части (и во многом последующих частей) сновидения абсолютно тождественны ритуалу русского свадебного обряда: умыканию невесты. Согласившись подать руку медведю у ручья, Татьяна тем самым определила этот обряд как умыкание невесты по сговору, то есть на добровольной основе. Обычно «кражу» невесты осуществлял «дружка» — ближайший поверенный в делах жениха (зачастую похититель наряжался в вывернутую наизнанку шубу). Ближайшим поверенным Онегина в ту пору мог быть только Владимир Ленский. Таким образом, разгадка проста: медведь — это Ленский.

Но между тем все коннотации сновидения говорят, что это не так. Вспомним: в сенях медведь внезапно исчезает; Татьяна, подсматривая в дверную щелку за пирушкой монстров (= свадьба с ряжеными), медведя там не видит. Онегин заправляет пиром, хотя именно «дружка» (Ленский, или медведь) должен быть церемонимейстером свадьбы. Дальнейшие события значительно ускоряют свой ход. Между Онегиным и Татьяной — дверь. (Символика двери достаточно общеизвестна, чтобы здесь останавливаться на ней.) Евгений решительно подходит к двери, приводя девушку в неописуемый страх и трепет, и сильным толчком открывает ее: перед взорами «адских привидений» предстает «дева». Сонм ужасных монстров

---

[1] А. Потебня исчерпывающим образом описал роль переправы для свадебной символики (*А. Потебня.* Переправа через реку как представление брака. — Московский археологический вестник», 1867–68, т. 1). Но вывод о «нелюбимом суженном, уготованном Татьяне», к которому он приходит в результате анализа ее сна, представляется мне более чем сомнительной экстраполяцией характера сновидения на чрезвычайно удаленную (и сюжетно, и ситуативно) перспективу замужества Татьяны с уважаемым ею, но нелюбимым генералом.

[2] См.: *А. С. Пушкин*. Евгений Онегин. Роман в стихах. Комментарий Ю. М. Лотмана. М., АТРИУМ, 1991, сс. 486–497.

притязает на Татьяну, но Онегин грозно провозглашает: «Мое!» И опять-таки эта процедура «приватизации» невесты соответствует обрядовому ритуалу свадьбы. Дальнейшее только подтверждает свадебную архитектонику сна: Евгений укладывает Татьяну на «шаткую скамью» (символ кровати, покачивающейся ладьи любви, но в то же время — шаткость означает и неуверенность, опасность, психологическую и законную необеспеченность), и его последующие намерения вполне очевидны.

Но что означает возглас Онегина «мое!», примененный лингвистически в среднем роде к женщине? Почему не «моя»? К чему относится этот средний род? На овладение чем он указует? Грамматически с ним можно соотнести только один частичный «объект» Татьяны. Этот объект притязания-присвоения среднего рода — тело Татьяны. В сновидении Татьяны Онегин — по принципу проекции — притязает на ее плоть, в соответствии с тем, что и сама Татьяна стремиться быть объектом мужского желания. Во сне нет и следа того духовного измерения, которое так предпочтительно характеризовало чувства Татьяны в повествовании.

Но намерениям Онегина не суждено было осуществиться. Стремительное вторжение Ленского, Ольги и света прерывает исполнение плотского желания. Онегин, естественно, бранит «незваных гостей», и это обстоятельство — этот бранный оборот речи — окончательно отбрасывает наш первоначальный вывод о том, что за фигурой медведя стоит Ленский. Ленский, будучи незваным на эту свадьбу, не мог быть и умыкателем невесты.

Медведь хранит свою тайну. И тем неразрешимей загадка, чем больше мы будем заняты ответом внутри толкований, предложенных автором романа. И не потому ли это происходит, что тайна медведя внетекстуальна? Другими словами, потому, что образно-функциональное назначение медведя принимает на себя сам автор: сводя своих героев в макронарративе романа, он еще раз сводит их в микронарративе сна. Пушкин претерпевает становление животным, чтобы войти в повествование, в сон Татьяны, как помощник и как сообщник, то есть как позитивная демиургическая сила вне текста, включающаяся там, где образуются негативные разрвывы текста, где повествование, казалось бы, должно остановить свой ход. Пушкин-медведь оказывается специфическим гарантом дальнейшего движения интриги.

Итак, вот новая расстановка: Татьяна — «трепетная лань», Онегин — вожделеющий повеса, Пушкин — медведь, а Ленский — «незваный гость». Обратите внимание, Ленский выведен за пределы интимного круга, и его ссора с Онегиным вполне может быть свадебнологической ссорой «дружки» с женихом из-за нарушения ритуала свадьбы, из-за лишения его приоритетного места в свадебной — и шире — в любовной истории. По логике («по правде») этой истории, Ленский-дружка не только претендент на умыкателя невесты, церемонимейстера пира и на осуществление дефлорации, если жених не может ее произвести по тем или иным причинам, Ленский в своей обрядовой ипостаси как бы гарантирует законность, праведность свадьбы. И сон Татьяны, исключающий Ленского в этой

важнейшей роли, — это сон о бесовской, неправедной свадьбе, о свадьбе «вопреки».

Сгущение и смещение сновидения в ролевых функциях образов говорят нам, что Ленский остается в вытесненном желании Татьяны и работает там как третий термин оппозиции Евгений—Татьяна, невидимый, исключенный, репрессированный, но изначальный и определяющий. Действительно, не являлся ли Владимир наиболее подходящим по своему духовному складу и характеру Татьяне? Очевидно, да. Но именно он сделал выбор не в пользу Татьяны. То, что его увлекает младшая дочь Лариных, уже нарушает традиционную русскую ситуацию последовательной выдачи дочерей замуж. Безусловно, что Татьяна — на фоне чрезвычайной редкости женихов в деревне — была внутренне травмирована выбором в пользу более поверхностной и легкомысленной Ольги. Последующий решительный отказ Онегина как бы продолжил дело Ленского, удваивая травму. В сновидении Онегин убивает Ленского; не потому ли сон сводится к этому роковому финалу, что для Татьяны в сложившейся ситуации он был психологически предпочтительнее всего? Не потому ли происходит убийство, что оскорбленная Татьяна бессознательно желала смерти Ленского? Как способа отмщения и создания решающей причины для развязки невротического узла, окончательно завязанного Онегиным. Двойной мести — и Онегину, и Ленскому; для того, чтобы причина развязки заключалась не в какой-то физической ущербности или духовной убогости самой Татьяны (а иначе почему же она была дважды отвергнута?), а терапевтически смещалось на такое существенное событие, после которого желанная близость с Онегиным фактически стала бы невозможной в контексте провинциальных этических норм (не могла же она встречаться с убийцей жениха родной сестры!). И Онегин впоследствии сам сформулирует эту доселе скрытую причину: «Еще одно нас разлучило... Несчастной жертвой Ленский пал...». Слово сказано, силлогизм замкнулся.

Но если во сне Татьяна ставит себя в центр событий, в центр мужского внимания, то в реальном пушкинском повествовании не Татьяна, а Ольга оказывается центром трагической интриги. И это противоречие-несоответствие не случайно: за границами сновидения Татьяна предпочитает быть скрытым двигателем событий, тайным, но могущественным двойником Ольги. Ведь реально-повествовательная причина ссоры Онегина и Ленского в Татьянин день не Ольга, она оказалась лишь поводом, в котором находит выход досада Евгения на «трепетный порыв» «девы томной», ставящей его в дурацкое положение в окружении, к которому он хотя относится и скептически, но где не желал бы стать предметом глумливых сплетен и пересудов.

Такова Татьяна; находясь в центре авторского повествования, она ускользает в тень, за кулисы, в невидимый центр истинного сцепления событий и страстей; располагаясь на сигнификативной поверхности, она, как метафора, расслаивает ее, чтобы скрыться в глубине.

Даже этот весьма краткий анализ сна Татьяны показывает, что Пушкин с истинно психоаналитической проницательностью смог построить на фундаменте бессознательных желаний и травматических комплексов наиболее значимую — центральную — часть интриги в «энциклопедии русской жизни», опередив в этом искусстве почти на столетие самого отца психоанализа.

Но надо отдать должное и Фрейду, который считал, что именно литература наиболее всесторонне исследует психическую жизнь человека. Свою задачу он видел как раз в переводе этого художественного исследования на фундамент позитивной научной терминологии и выверенного концептуального обоснования, что он и попытался осуществить в знаменитом Traumdeutung.

Архетип, 1996, №2, с. 98-107.

Эрос невозможного.
История психоанализа в России
(фрагмент)
А. М. Эткинд

ПСИХОАНАЛИЗ В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ

На перевале

Действительно популярным в России психоанализ стал после революции 1917 года. Перечисление множества имеющихся свидетельств можно по сложившейся в старые годы традиции открыть словами Ленина: «Теория Фрейда сейчас тоже своего рода модная причуда» [1]. Приятель Михаила Булгакова Сергей Ермолинский с иронией вспоминал вкусы московской интеллигенции 20-х годов: «В моду входили Фрейд и Шпенглер» [2]. По воспоминаниям нейтральной в этом вопросе Надежды Мандельштам, в Харькове 1922 года Фрейд был интересной новинкой; о нем «говорили все, но сведения были уж слишком смутными и бесформенными» [3].

Популярность психоанализа среди новой политизированной элиты по-своему констатировал большевик и писатель А. К. Воронский, сам принимавший участие в организации Психоаналитического общества в Москве. Особенно легко, писал он, соблазну фрейдизма «поддаются марксиствующие и марксистообразные беспартийные круги интеллигенции» [4].

Имевший прямо противоположные политические взгляды философ и эмигрант Ф.Степун формулировал свои впечатления от послереволюционной Москвы вот каким удивительным образом: «Во всякое учреждение входили мы, как в психоаналитический институт» [5]. Он имел в виду достаточно банальные вещи — необходимость расшифровывать намеки и жесты, чтобы отличить своих от чужих; просто это словосочетание — психоаналитический институт — было настолько обычным, что его можно было употреблять как метафору.

Детский поэт К. Чуковский в июне 1924 года записывает в дневнике: «Читаю Фрейда — без увлечения», — и тут же интерпретирует свои чувства во время бессонницы как «тягу к смерти» [6]. Влияние психоанализа не менее поучительно прослеживать у тех, кто относится к нему без видимого интереса, чем у его горячих поклонников.

Вот что писали в 1925 году энтузиасты Л. С. Выготский и А. Р. Лурия: «У нас в России фрейдизм пользуется исключительным вниманием не только в научных кругах, но и у широкого читателя. В настоящее время почти все работы Фрейда переведены на русский язык и вышли в свет. На наших глазах в России начинает складываться новое и оригинальное течение в психоанализе, которое пытается осуществить синтез фрейдизма и марксизма при помощи учения об условных рефлексах» [7].

«Мы все были под влиянием Фрейда», — рассказывает один из крупнейших физиологов советского периода, Н. Н. Трауготт, о своем поколении. Учившаяся на педологическом отделении ленинградского института в 1926–1927 годах, Наталья Николаевна вспоминает фольклор, бытовавший в среде увлеченных Фрейдом студентов: «Аффекты ущемленные и комплексы везде. Без Фрейда, без Фрейда не проживешь нигде»[1]. Впрочем, систематически психоанализ никто им не преподавал.

Практикующий аналитик Сара Найдич, уехавшая около 1920 года из Петрограда в Берлин, шкала в официальном органе Международной психоаналитической ассоциации взвешенно и, наверно, объективно: «Официальные лица в русской науке интересуются психоанализом теоретически, но ни в коем случае не в практическом плане. На научных заседаниях время от времени затрагиваются, часто случайно, вопросы, связанные с фрейдовской динамикой душевных процессов. Сексуальные теории априори вызывают мало сочувствия. Однако позиция официальных кругов не является неблагоприятной» [8].

Заимствованные из психоанализа представления в эти годы проникают в литературные дискуссии. Исследователь влиятельного в начале 20-х годов литературного течения «Перевал» Г. А. Белая отмечает в нем «постоянное, неизменное внимание к бессознательному» [9]. Она считает, что вопрос о бессознательном «для литературы 20-х годов был проявлением общего интереса к движущим силам революции». Вряд ли стоит ограничиваться этим объяснением. Не менее важно то, каким именно образом литераторы видели и описывали людей революции, а это объясняется в большей степени интеллектуальными влияниями и модами, нежели историческими событиями как таковыми. О. Мандельштам (10) с удивлением отмечал возрождение интереса современных ему прозаиков к психологии и быту. «Язва психологического эксперимента проникла в литературное сознание, прозаик стал оператором, проза — клинической катастрофой», — писал он в 1922 году.

Действительно, литераторы 20-х годов нередко мыслили в упрощенных психоаналитических терминах. Согласно А. Воронскому, лидеру группы «Перевал», «революция выдвинула... новых героев с особым душевным складом, с особыми сознательными и бессознательными чувствами» [11]. У Бабеля, Пильняка, Пастернака он находил даже излишнее внимание к «бессознательным истокам жизни», тогда как его главные литературные противники страдали, по его мнению, чрезмерной рациональностью. У них, писал близкий к Воронскому Д. Горбов, «мир подсознательных *влечений*

---

[1] Или еще:

Жил в Ленинграде несчастный студент,
Жил он по Фрейду, творил много бед,
Ехал в трамвае, забыл заплатить,
Это свиданье хотел пропустить,
Все состоянье свое промотал
Это он в детстве колитом страдал, и т.д.

Н. Н. Трауготт. Личное сообщение, 1992

насильственно отрывается... от мира сознательных *убеждений».* Впрочем, пролеткультовские оппоненты «Перевала» пользовались примерно таким же языком: задача писателя, формулировал журнал «На посту», — «осветить, электрифицировать огромный сырой подвал подсознания» [12]. О самом же Воронском даже в 1962 году «Краткая литературная энциклопедия» считала необходимым сообщить о нем: «Вслед за Троцким... В. принижал роль мировоззрения в худ. творчестве и противопоставлял ему «бессознательное»... что современники называли «воронщиной»»[1].

В разгар войны с воронщиной в нее были зачислены лучшие писатели эпохи. Справедливо называя первую антиутопию XX века, роман Е. Замятина «Мы» контрреволюционным, идеологи новой власти трактовали увлечения Замятина, Б. Пильняка и Воронского на языке, в котором примитивный фрейдизм перемешан со столь же примитивным марксизмом: «Суть [их] высказываний ясна. Творчество — это сон, и как сон, оно бессознательно... Не могут они, буржуазные по своей сущности писатели, не ополчиться против сознания, не изгонять его, потому что всякое сознательное восприятие социальной действительности говорит им о их скорой и неминуемой гибели» [13].

Между тем Замятин писал ясно и безо всякого страха: «В спальных вагонах и каждом купе есть такая маленькая рукоятка, обделанная костью: если повернуть ее вправо — полный свет, если влево — темно, если поставить на середину — зажигается синяя лампа, все видно, но этот синий свет не мешает заснуть, не будит. Когда я сплю и вижу сон — рукоятка сознания повернута влево; когда я пишу — рукоятка поставлена посередине, сознание горит синей лампой. Я вижу сон на бумаге, фантазия работает как во сне, она движется тем же путем ассоциаций, но этим сном осторожно (синий свет) руководит сознание. Как и во сне — стоит только подумать, что это сон, стоит только полностью включить сознание — и сон исчез» [14]. Так начинается статья Замятина «Закулисы», опубликованная в 1930 году в задуманном им же сборнике «Как мы пишем». Сборнику предшествовала анкета, разосланная Замятиным тем, кого он приглашал участвовать в сборнике — Горькому, Андрею Белому и другим. Среди 16 вопросов о разных аспектах литературной техники были и такие: «Наркотики во время работы: в каком количестве?» и «На каких восприятиях чаще всего строятся образы (зрительных, слуховых, осязательных и т.д.)?»

Но при всей своей смелости Замятин не мог уже ссылаться на источник своего подхода к занимающей его психологии творчества, и соответствующий фрагмент остался не только за кулисами, но и в черновике: «Комната, где стоит мой письменный стол, подметается каждый день, и все-таки, если сдвинуть с места книжные полки — в каких-то укромных углах, наверно, найдутся пыльные гнезда, серые, лохматые, может быть, даже живые комки, оттуда выскочит и побежит по стене паук.

---

[1] Член РСДРП с 1904 года, создатель и главный редактор первого советского толстого журнала «Красная новь», Воронский был членом троцкистской оппозиции в 1925–1928 годах, после покаяния восстановлен в ВКПб и, наконец, арестован в 1937 г.

Такие укромные углы есть в душе у каждого из нас. Я (бессознательно) вытаскиваю оттуда едва заметных пауков, откармливаю их, и они постепенно вырастают в моих... [героев]. Это — нечто вроде фрейдовского метода лечения, когда врач заставляет пациента исповедоваться, выбрасывать из себя все “задержанные эмоции”» [15].

Входивший вместе с Михаилом Зощенко в группу «Серапионовы братья» Всеволод Иванов записывал: «У человека обычно две жизни. И второй, подспудной (теперь ее называют бессознательной), он не любит касаться. Да и зачем? В редких случаях эта вторая жизнь всплывает и ломает первую» [16]. Роман «У», написанный Ивановым в середине и конце 20-х годов и опубликованный только в конце 80-х, и в терминологии, и в фабуле, и в смысловом построении весь проникнут психоанализом, который то излагается, то пародируется, то подразумевается.

Рассказ идет от имени счетовода «психиатрической больницы им. Э. Крепелина, что в полутора часах езды из Москвы». Ситуация в больнице излагается с полным знанием дела: часть врачей, к которой принадлежал и директор, выступала за теорию «нозологических единиц» — то есть, поясняет Иванов, «грубо говоря, за возможность подведения болезней человека, его психики под твердые и неколебимые разновидности». Другая же часть «отстаивала борьбу за детальное углубление в психику» и практиковала «увеличенную психотерапию», используя в этом деле такие адлеровские термины, как влечение к власти и бегство в болезнь. Когда счетовод захотел бросить курить, безумный психоаналитик, доктор Андрейшин, ординатор «отделения полуспокойных», «заставил меня вспомнить, что еще в двухлетнем возрасте я был склонен, если не к убийствам, то к насилию над своей няней» (читал ли Иванов фрейдовскую «Историю детского невроза»?). По ходу странного, часто абсурдного сюжета звучат восклицания вроде «психоанализ психоанализом, но я испытывал такое состояние, будто и меня облили помоями».

Герои романа, сложными путями повторяя современную ему метаморфозу советского психоанализа, хотят переместиться из московской психиатрической больницы на уральский строительный комбинат, где они собираются заведовать «психической частью», занимаясь «психической переделкой людей» по четырехлетнему плану [16]. И только рассказчик-счетовод догадывается, что «здесь производится единственное в своем роде психологическое испытание, более реальное и более ощутимое, чем все затеи доктора Андрейшина» [17].

Ужас пустоты

Ощущение тупика, которое все яснее осознавалось политическими «верхами», вынуждало к поиску новых идей. Евгений Замятин среди многих проблем русской литературы 1923 года главным считал то, что в ней отсутствует «философский синтез, а именно в нем-то сейчас острая потребность, жажда, голод. Разрушено все, что было нужно, — и все, что

было можно». Переходя на латинский, он описывает мир нового человека как horror vacui — ужас пустоты [18].

Весь диапазон леворадикальных рецептов был хорошо известен, множество раз дискутировался еще до революции, а теперь, когда они были реализованы и провалились, их повторение имело лишь ритуальный характер. Сдвиг вправо, к экономической либерализации, на который с колебаниями и очень непоследовательно решился Ленин, означал потерю столь ценимой большевиками власти. В этой ситуации желание вырваться из привычного политэкономического спектра решений (влево-вправо, радикальная национализация либо высвобождение частной инициативы) было естественным и многим казалось осуществимым. Новым измерением революционного процесса представлялась «переделка человека», глубокое преобразование его природы на социалистических началах. Как формулировал в 1920-м притязания своей «театротерапии», поддерживаемой Л. Троцким, Н. Евреинов: «Это, конечно, не аргумент против социализма, это лишь аргумент в пользу того, что мы должны еще что-то предпринять» (см. гл. 4).

Позже, в середине 30-х годов, необычайно выразительно писал о том же в своем оставшемся тогда в рукописи романе «Счастливая Москва» Андрей Платонов [19]. «Надоело как-то быть все время старым природным человеком: скука стоит в сердце»; «насколько человек еще самодельное, немощно устроенное существо — не более, как смутный зародыш и проект чего-то действительного, и сколько еще надо работать, чтобы развернуть из этого зародыша летящий, высший образ, погребенный в нашей мечте», — чувствуют не читавшие, наверно, Ницше герои Платонова. Труднее всего приходится в этом новом мире человеческой сексуальности. «Либо социализму удастся добраться во внутренность человека до последнего тайника и выпустить оттуда гной, скопленный каплями во всех веках, либо ничего нового не случится и каждый житель отойдет жить отдельно, бережно сохраняя в себе страшный тайник души». Не ссылаясь на Фрейда, герой романа открывает, что «страсть жизни» сосредоточена не в желудке, а в чем-то другом, «более скрытом, худшем и постыдном»; и понять это необходимо именно теперь, потому что «он давно втайне уже боялся за коммунизм, не осквернит ли его остервенелая дрожь, ежеминутно подымающаяся из низов человеческого организма».

И действительно, чего не удалось достичь на пути изменения экономических и политических структур, теперь вопреки марксизму пытались искать на пути психологических и педагогических экспериментов. Политическим лидером этого нового в большевизме пути был, безусловно. Лев Троцкий. Ответственным исполнителем планов переделки человека стал нарком просвещения Анатолий Луначарский. Не знавшими меры пропагандистами этих идей были деятели Пролеткульта. Колеблясь и отступая перед здравым смыслом, это направление поддерживали многие интеллигентные большевики, в частности, Надежда Крупская, в начале 20-х осуществлявшая политический надзор за Наркомпросом, и Николай Бухарин.

Философскую основу идеи переделки человека заложил не Маркс и не Фрейд, а Ницше. Это его романтическая мечта о сверхчеловеке, из которой логически следовало презрение к человеку живущему, обывателю и мещанину, его радикальный призыв к переоценке всех ценностей и его же пренебрежение к любым свидетельствам реальности осуществлялись на деле в бюрократической деятельности Наркомпроса. Влияние Ницше на большевистское сознание остается интереснейшим вопросом, в полной мере еще не изученным. Исследователи [20] показали трансформацию идей Ницше в работах Богданова, Луначарского и, конечно, Горького.

Но Ницше не мог быть легитимным источником новой политики. Он уже фигурировал на русской сцене во времена молодости таких деятелей, как Троцкий, он был прочно скомпрометирован теми давними дискуссиями и, попросту говоря, он не был нов. Все то же самое, впрочем, не помешало другим реформаторам природы человека, немецким нацистам, сделать из Ницше пророка своей политики.

Для большевиков, в противоположность нацистам, привлекательнее был Фрейд.

Одной из высших ценностей в их сознании была наука. Даже Сталин, в конце концов истребивший всех, кто напоминал ему о наивных устремлениях изменять злую, хитрую и корыстную человеческую природу, которая может быть дисциплинирована только силой, — даже Сталин воплощал свой бред в наукообразные формы. Те же, кто вдохновлял Наркомпрос и Пролеткульт, были, в отличие от него, одаренными интеллектуалами. Троцкий был действительно блестящим публицистом, Луначарский — оратором, Богданов — философом, Блонский — психологом... Эти люди понимали толк в науке, точно оценивали ее уровень и, в отличие от своих политических преемников, однозначно реагировали на интеллектуальную халтуру. Их марксистская выучка, к которой прибавился сначала опыт эмигрантской жизни в Европе, а потом — навык бюрократического руководства огромными хаотическими организациями, воспитала в них привычку осознавать происходящее в обобщенных научных терминах и придавать этому пониманию решающее значение. В критической философии второй половины нашего века, изживающей крайности подобного рационализма, такая установка называется логократией, верой в то, что знание истины изменяет мир само по себе. Ярче всего этот культ сознания был выражен у Троцкого, который считал возможным пропагандировать его даже в политических речах.

Поэтому Ницше с его иррациональными мечтаниями был наивен и неприемлем. Значение, которое Фрейд придавал сознанию в изменении человеческого поведения, казалось более созвучным новым задачам. Именно эти элементы фрейдовского учения стали безусловно доминировать в том его упрощенном варианте, который представлен в работах советских аналитиков, например, И. Ермакова. Фрейдизм — так большевики называли психоаналитическое учение по аналогии с привычным марксизмом — воспринимался как научно обоснованное обещание действительной, а не литературной переделки человека, осуществляемой на основе изменения его

сознания. Масштаб, конечно, не тот, но не зря Бухарин рассуждал о буржуазной науке лилипутов и пролетарской науке гулливеров. Фрейд с его кушеткой и индивидуальным пациентом, с которым надо работать годами, казался им, вероятно, провозвестником будущих психоаналитических фабрик: нечто вроде Сен-Симона с его убогой коммуной, из которой выросли гулливерские стройки советского коммунизма. Пройдет немного времени, и бывший психоаналитик Арон Залкинд объявит о решающих успехах руководимой им педологии в деле научного строительства «нового массового человека.

Наблюдатели тех лет отмечают удивлявший многих процесс реабилитации частной жизни. Бойцы, вернувшиеся с фронтов войны, растянувшейся почти на десятилетие; горожане, начинавшие восстанавливать полностью разрушенный военным коммунизмом быт; бюрократы, интеллигенты, нэпманы — все разом стали возвращаться к человеческой жизни. Христианская мораль была дискредитирована. Коммунистическая устанавливалась как-то нерешительно, даже большевики ленинского типа откладывали ее в далекое будущее, а в личной жизни давали образцы совершенно традиционного поведения. Жизнь миллионов людей должна была устанавливаться заново. Молодежь, беженцы, выдвиженцы чувствовали вакуум моральных норм, понятных и чем-то оправданных стандартов действий в межличностной, семейной, даже и в профессиональной сфере. Современное науковедение [21] связывает периоды расцвета таких наук, как психоанализ, социальная психология, сексология именно с эпохами общественных ломок, когда место традиционных норм и регуляторов поведения — религии, права, традиций оказывается вакантным и заполнять его спешно приходится науке.

Сексуальная жизнь неожиданно стала интересной всем. Героиня революционных матросов, а ныне посол в Стокгольме, Александра Коллонтай опубликовала в «Красной нови» письмо к пролетарской молодежи, в котором утверждала, что и партийцы умеют любить и, сверх того, имеют право на любовь. Воронскому пришлось опубликовать ответ возмущенной большевички, которая сравнивала оппортунистическую позицию Коллонтай с мелкобуржуазными стихами Ахматовой[1]. В конце этой дискуссии солидно выступил Луначарский, попытавшийся объяснить, что государство не в состоянии регламентировать еще и эту сферу жизни [22].

В 20-е годы выходят квазинаучные издания, содержащие разного рода рекомендации по ограничению половой жизни и переводу ее на «сознательный» уровень. Венцом их были многократно перепечатывавшиеся «заповеди» Арона Залкинда, согласно которым класс в интересах революционной целесообразности вправе вмешиваться в половую жизнь своих членов (подробнее см. гл. 8). Предполагаемые результаты описали Евгений Замятин в «Мы» и Андрей Платонов в опубликованном лишь в 80-е

[1] А Питирим Сорокин говорил о Коллонтай, что «революционный энтузиазм этой женщины есть не что иное, как косвенное удовлетворение ее нимфомании» [23].

годы «Антисексусе». Пантелеймон Романов рассказывал о сложностях, которые возникали у заурядного «нового человека», когда он впервые испытывал любовь и стеснялся своего буржуазного чувства, ревновал и оттого чувствовал себя контрреволюционером и т.д. В 1925 году Лидия Гинзбург записала: «Эротика стала существеннейшим стержнем литературы прежде всего как тема неблагополучная» [24]. О. Мандельштам, скорее всего не осознававший тогда, в 1922-м, подлинного значения своей метафоры, называл интерес современных ему литераторов к психологии и быту «романом каторжника с тачкой» [25].

Эта жизнь дошла до нас в данных нескольких социологических опросов о половом поведении молодежи [26]. В целом они свидетельствуют о нетрадиционном и дезорганизованном сексуальном поведении студентов начала 20-х годов. Высокий уровень ранних браков, частые разводы и количество абортов, почти вдвое превышающее количество рождений, сосуществовали с нереалистичными установками, общей неудовлетворенностью и частыми жалобами на сексуальные расстройства. Три четверти одесских студентов 1927 года считали, что нуждаются в более интенсивной половой жизни, и 41% жаловались на половую слабость. «Занятия, умственный труд и огромные траты интеллектуальной энергии в сочетании с неправильным питанием серьезно усиливают остроту сексуальных проблем», — писал современник (там же). По данным А. Залкинда, 85% болели «нервными или бронхиальными расстройствами». Волна суицидов, прокатившаяся по столицам после самоубийства С. Есенина (1925), отразила степень дезориентации молодежи. Отвечая на вопросы по «социальной гигиене пола», студенты высказывали радикальные пожелания типа государственного обеспечения равной доступности женщин и открытия бесплатных публичных домов и в то же время почти единодушно говорили о вреде мастурбации и недопустимости гомосексуализма.

Прокламируемым целям этой культуры соответствовала невероятно высокая степень сексуального подавления, засвидетельствованная опросами. Больше половины студенток, по данным ряда исследований в университетах Москвы, Одессы и Омска, оставались девственны в возрасте до 30 лет, 80% одесских студентов-мужчин по крайней мере раз в жизни пытались навсегда отказаться от подовой жизни. Залкинд сообщал с удовлетворением, что больше трети исследованных им московских студентов не ведут половой жизни, так как «переключают сексуальную энергию в творческую социальную деятельность». Меньше половины одесских студентов верили в то, что любовь существует, хотя 63% сообщали, что пережили ее в своей жизни. Меньше половины студенток мечтали о браке; правда, четверть студенток была за «свободную любовь» (там же).

Глубокое рассогласование реальных способов подового поведения и воспринятых представлений о нем порождало острый спрос на такую духовную систему, которая могла бы объяснить человеческие отношения и вместе с тем не противоречила бы явным образом большевистской идеологии, энтузиастами которой были эти молодые люди. С другой

стороны, неудовлетворенные потребности искажали образ любой духовной системы, подгоняя ее под себя.

В этой обстановке понятно, что двухтомное издание «Введения в психоанализ» Фрейда, выпущенное ГИЗом в 1922 году тиражом 2000 экземпляров — тираж столь фантастический для Джонса, что он рассказывал о нем спустя тридцать лет, — было раскуплено в течение месяца.

Поворотили на детей

Со всем этим связан и особый, свойственный культуре 20-х годов интерес к детству. Он проявился не вдруг, но воспринимался как нечто новое и к тому же возник одновременно у самых разных людей.

Вспоминая 20-е годы, Лидия Гинзбург так трактовала литературный процесс: «Поворотили на детей». По ее словам, «выдумал детскую литературу» Корней Чуковский, до 1917 года бывший популярным журналистом и литературным критиком, который сам «с революцией остался вроде новорожденного». После «Котика Летаева» Белого почти одновременно выходят «Детство Люверс» Пастернака и детские автобиографические очерки Мандельштама. В дневниковых записях 1925–26 годов Гинзбург писала: «Все ужасно обеспокоены: как это — опять Иван Иваныч с психологией? Нет уж, пускай будет Ванечка: во-первых, темна вода; во-вторых, меньше прецедентов; в-третьих, больше парадоксов» [27]. Горький пишет «Мои университеты», а символом новой эпохи в живописи становятся мальчики Петрова-Водкина. Николай Рыбников создает огромное собрание дневниковых описаний развития детей и пытается пробить через Наркомпрос масштабный проект организации Биографического института, специально занимающегося подобным коллекционированием. В повестке дня стоит вопрос об организации новой, «гулливерской» по Бухарину науки о ребенке и о переделке человека — педологии.

Разнообразные ассоциации и институты медико-психолого-педагогического плана с более или менее явным психоаналитическим уклоном появляются с неведомой нигде ранее быстротой. Весной 1918 года в Москве учреждается Институт ребенка с двумя подотделами — соматическим и психологическим и Опытным детским садом. В том же году частный санаторий В. П. Кащенко решением Наркомпроса преобразуется в Медико-педагогическую клинику, а 1 октября 1923 — в Медико-педагогическую станцию с широко сформулированными исследовательскими задачами. В августе 1919 года в Петрограде учреждается Клинический психотерапевтический институт. Его директором значится знакомый нам А. Б. Залкинд; в небольшом штате из трех научных работников числится и еще один психоаналитик, И. А. Перепель. В первые послереволюционные годы в Петрограде развивается огромное клиническое и научное хозяйство В. М. Бехтерева — Психоневрологическая академия с существовавшим на ее базе 2-м Петроградским университетом. В Академию входил Детский обследовательский институт под руководством А. С.

Грибоедова, в котором Татьяной Розенталь с 1918 года велись психоаналитические исследования детей.

Первый суицид, первая эмиграция

Она была характерной для психоаналитического движения в России фигурой. Как писала в посвященном ей некрологе [28] ее подруга Сара Найдич, «если психоанализ закрепился в Петербурге, то это только благодаря бурной деятельности Татьяны Розенталь». В молодости она была активисткой социал-демократической партии, принимала участие в революции 1905 года, участвуя в рабочем еврейском движении, и состояла одно время Председателем ассоциации студенток Высших женских курсов Москвы. В 1906 году она, «усталая и в расстроенных чувствах», появилась в Цюрихе, выбирая между медициной и юриспруденцией и гадая, какая профессия будет более полезна для ее общественной деятельности. Случайно натолкнулась она в это время на одну из книг Фрейда. До нас дошло ее восклицание: «Какая гармония возникнет, когда соединятся идеи Фрейда и Маркса!» Получив докторскую степень по психиатрии (почти одновременно с учившейся там же Сабиной Шпильрейн), Розенталь возвращается из Цюриха в Петербург и посвящает всю свою энергию практике и пропаганде психоанализа.

Мы мало знаем о ее деятельности. В 1919 году она участвует в работе только что основанного В. М. Бехтеревым Института мозга, возглавляя там отделение детских невропатий и психопатий. Зимой 1919–1920 годов Розенталь читает в этом институте цикл лекций по психоанализу. На Всероссийском съезде по уходу за отсталыми детьми, который состоялся в Москве в 1920 году, Розенталь проводит резолюцию, призывающую изучать психоанализ всех, кто имеет отношение к воспитанию детей. По неизвестным причинам, добавляет Найдич, эта резолюция не была опубликована.

В 1919 году в журнале под редакцией Бехтерева выходит в свет ее статья «Страдание и творчество Достоевского» [29]. Розенталь называет свой метод «психогенетическим», называет его развитие заслугой Фрейда, но возражает против психосексуального монизма последнего. Гораздо интереснее другое. В своей клинической трактовке Достоевского Розенталь опередила Фрейда, который семью годами спустя, не ссылаясь, повторил ряд ее тезисов. И Фрейд, и Розенталь говорили об амбивалентности Достоевского, о роли его детских травм и о природе его эпилепсии. В последнем пункте сходство их рассуждений особенно велико. Точно так же, как позднее Фрейд, Розенталь утверждала, что Достоевский страдал не генуинной (у Фрейда органической), а аффективной эпилепсией. Ее клинические аргументы и даже некоторые примеры те же, что у Фрейда: припадки вызывались душевными волнениями; снижение личности отсутствовало; эмоциональная жизнь была необычно амбивалентной; на

каторге состояние улучшилось и припадки прекратились[1]. Как будто иллюстрируя мысль Фрейда: «его припадки были его карой. Он более в них не нуждался, когда был караем иным образом», — Розенталь цитирует слова самого Достоевского: «О, это было для меня большое счастье, Сибирь и каторга. Ах, если бы Вас на каторгу!»

Сама она этого счастья дожидаться не стала. В 1921 году Татьяна Розенталь покончила с собой.

Доктор Найдич писала в своем некрологе: «Это было необыкновенно сложное существо: очень деятельное, очень продуктивное, но наполненное глубокой внутренней неудовлетворенностью. Под холодной наружностью, уверенными манерами, остротой высказываний и ясностью мысли скрывались непрекращающаяся глубокая тревога и нежная, романтическая и мистическая душа. Ее стихи, опубликованные в 1917 году в Петрограде, хорошо показывают это. Она была молода (ей было 36), одарена, активна в своем деле. Она была матерью замечательного ребенка, которого нежно любила. Она сама приняла свою смерть, жертва судьбы, которую сама же выбрала»[2].

Больше мы, увы, ничего не знаем. Год кронштадтского и тамбовского восстаний, всеобщего голода и приближающегося НЭПа мог дать достаточно поводов для самоубийства бывшей активистки БУНДа. Работа аналитика, как хорошо известно из истории психоанализа, от самоубийства не спасает. Кажется все же, что мы еще разгадаем загадки Татьяны Розенталь: кто анализировал ее в Цюрихе; чем занималась она в Петрограде с 1911 по 1919; каковы были ее отношения с Бехтеревым; знал ли Фрейд ее работу о Достоевском; почему ее стихов нет в библиографических указателях и коллекциях; и что произошло с ее ребенком?..

В том же 1921 году, когда Татьяна Розенталь покончила с собой, другой пионер русского психоанализа, Николай Осипов, эмигрировал в Прагу. Вплоть до своей смерти в 1934 году он практиковал там анализ и преподавал его в Карловом университете. Вместе со своим учеником Федором Досужковым Осипов стал основателем психоанализа в Чехословакии. Только здесь и сохранилась по сей день прямая преемственность традиции, идущей от русских психоаналитиков.

VI Конгресс Международной психоаналитической ассоциации в Гааге в 1920 году прошел под сильным давлением русских, требовавших внимания и признания. Их представителем на Конгрессе оказалась Сабина Шпильрейн, приехавшая из Лозанны. На первом же организационном заседании она взяла слово и предложила, чтобы «Международный журнал психоанализа»,

---

[1] А. Кашина-Евреинова в своей вышедшей в 1923 году книжке о Достоевском утверждала обратное: что на каторге эпилепсия Достоевского усилилась. Попытка применения психоанализа к Достоевскому обсуждалась в 1924 году Б. А. Грифцовым [30]. Несколько позже этим занимались И. Ермаков, в архиве которого осталась неопубликованная рукопись книги о Достоевском, и Н. Осипов (см. далее).

[2] В 1927 году одесский доктор Я. М. Коган в предисловии к переведенной им книге Анны Фрейд писал: «В детском обследовательском институте... психоаналитическое обследование является обязательной составной частью общего исследования всех воспитанников» [31]. Скорее всего, с гибелью Татьяны Розенталь это утверждение уже не соответствовало действительности.

официальный орган Международной Ассоциации, издававшийся по-немецки и по-английски, систематически печатал бы статьи по-русски, а также резюме выполненных в России работ на языке журнала. Т. Райк возражал ей, что печатать статьи на кириллице будет слишком дорого. Выступил Фрейд и, признавая серьезность вопроса, обещал заняться им в будущем [32].

Предложение Шпильрейн было осуществлено в той его части, которая касалась публикации регулярных обзоров русских работ и официальной информации о деятельности Русского психоаналитического общества.

Письма из Казани

В 1974 году на юбилейном собрании Московского отделения Общества психологов знаменитый нейропсихолог Александр Романович Лурия рассказывал [33]: «Я помню годы — 1918, 1919, 1920, когда я, совсем молодой парень, стал заниматься чем угодно. Меня интересовали общественные науки и я живо интересовался вопросами развития социальных учений и утопического социализма». Лурия только поступил на юридический факультет Казанского университета, как его переименовали в факультет общественных наук, и бывший профессор церковного права читал в нем социологию. «У меня, человека абсолютно средних способностей, возник ряд проектов, как всегда у молодых людей, проектов невыполнимых, но имеющих какое-то мотивационное значение».

Лурия был исключительно способным человеком, и главный его проект этих лет оказался выполнен. 19-летний студент в дальнем углу огромной, перевернутой большевиками страны образовал психоаналитический кружок, вступил в переписку с самим Фрейдом[1] и добился признания своего казанского кружка Международной психоаналитической ассоциацией. Участники кружка, среди которых было 7 врачей, 2 педагога, 5 психологов и один историк (М. В. Нечкина, впоследствии ставшая академиком), регулярно собирались, чтобы обсудить переводы Фрейда, творчество Достоевского либо Розанова. Протоколы и прочие документы кружка, в отличие от других психоаналитических начинаний в России, содержались А. Р. Лурией в образцовом порядке.

Казань отнюдь не была изолированной от мира провинцией. Примером может быть одна из участниц кружка. Роза Авербух, 1883 года рождения, в 1901–1909 годах студентка Бернского и Цюрихского университетов. Она вернулась в Россию в 1912 году, состояла «на земской и городской службе», а с 1917 года работала в госпитале Казанского университета [34]. В 1921 году она перевела и издала в Казани «Психологию масс и анализ человеческого Я», которую местные поклонники Фрейда резонно сочли наиболее актуальной для текущего момента.

[1] Письма Лурии хранятся в американском архиве Фрейда и будут опубликованы лишь в 2000 году; короткие ответы Фрейда находятся в архиве Е. А. Лурия.

Возможно, что на деятельность Казанского кружка и на его признание Международной психоаналитической ассоциацией повлияли давние дружеские отношения Фрейда и основателя казанской школы невропатологов Л. Даркшевича, учениками которого были участвовавшие в кружке врачи. Неизвестно, правда, вел ли кто-либо из участников кружка систематическую психоаналитическую практику. Существование Казанского кружка, однако, имело важные организационные последствия.

Психоанализ при Наркомпросе

В мае-июне 1922 года в Москве образуется Русское Психоаналитическое общество (РПСАО). В бумагах Главнауки Наркомпроса сохранились его учредительные документы [35]. Психоанализ, сказано в них, «по существу своему является одним из методов изучения и воспитания человека в его социальной среде, помогает бороться с примитивными асоциальными стремлениями недоразвитой в этом смысле личности и представляет громадный интерес как в области чистой науки, так и в прикладных». За этим следует длинный список «прикладных знаний», в котором психиатрия занимает последнее место. Заявка подписана 14 лицами; среди них четыре педагога (все занимают руководящие должности в Наркомпросе), четыре врача, два профессора искусствоведения, два профессора физики и два писателя [36]. Подписи под заявкой собирались в сентябре 1922 года. Первыми стоят подписи Отто Шмидта и Ивана Ермакова. Наркомат просвещения был совершенно необыкновенным учреждением. Огромная и все разбухавшая бюрократическая структура управлялась глубоко несходными между собой людьми. Вернувшиеся с фронтов большевистские комиссары сидели за одним столом с любимыми публикой деятелями артистической богемы; старые министерские чиновники — с радикально настроенными энтузиастами небывалых методов просвещения; университетские профессора — с женами высших чинов нового руководства...

«Наша служба в Наркомпросе мне вспоминается как отрадный оазис, где соединяешься с друзьями, вырабатываешь какие-то светлые утопии во всемирном масштабе и забываешь на время кошмар, тебя окружающий», — писала дочь Вячеслава Иванова, работавшая в 1918–1920 гг. в Школьном отделе под началом Н. Я. Брюсовой, сестры знаменитого поэта. Сам же Иванов заведовал в этом оазисе одной из секций Театрального отдела. Его начальником была О. Д. Каменева, сестра Троцкого и жена другого большевистского лидера, Л. Б. Каменева. Жена самого Троцкого заведовала соседним, Музейным отделом Наркомпроса [37].

Светлые утопии рассматривались в невероятных сочетаниях и утверждались на высоком бюрократическом уровне, унаследованном от учреждений Российской империи. К примеру, 24 декабря 1924 года Президиум Государственного ученого совета (ГУСа) Наркомпроса под председательством М. Н. Покровского рассмотрел такие вопросы:

утверждение производственного плана научно-художественной секции ГУСа по докладу замечательного авангардистского художника Д. П. Штеренберга; «О принуждении Отделами народного образования покупать с их складов книги, запрещенные ГУСом»; докладную записку проф. И. И. Иванова «Об искусственном скрещивании человека с обезьяной». По последнему вопросу докладывал О. Ю. Шмидт, которому и было поручено организовать комиссию для «проработки» этого предложения [38].

Из членов-учредителей Русского психоаналитического общества аналитическую практику, насколько нам известно, имели только трое: И. Д. Ермаков, Ю. В. Каннабих и М. В. Вульф; и лишь последний представлял фигуру, пользовавшуюся признанием коллег за рубежом. Участие ведущих теоретиков педагогической реформы С. Т. Шацкого и П. П. Блонского, а также руководителя Главного управления социального воспитания Наркомпроса Г. П. Вейсберга обеспечивало психоаналитикам официальную поддержку, но и требовало отдачи в масштабе и формах, привычных новой власти. К этой группе примыкал и существенно ее усиливал один из профессоров, О. Ю. Шмидт, политическая карьера которого начинала в это время стремительный взлет[1].

Действующие лица и исполнители

Странное имя и характерная внешность этого человека будут знакомы в СССР всем. Знаменитый полярный исследователь Отто Юльевич Шмидт (1891–1956), руководитель экспедиций на «Седове» и «Челюскине» и начальник Главного управления Северного морского пути, вице-президент АН СССР (1939–1942) был одним из тех творцов сталинских пятилеток, вокруг которых целенаправленно создавалась легенда. Зачем нужны были эти экспедиции? Кого перевозил ГлавСевморпуть? Кто бы внутри страны или вне ее ни задавал себе эти вопросы, научный авторитет чудака-математика с огромной черной бородой не мог вызывать сомнений. Еще до революции он был приват-доцентом Киевского университета, а во время исполнения им высоких советских обязанностей разрабатывал широко рекламировавшуюся теорию, предмет которой был достоин очень высокого поста — теорию образования Солнечной системы. Член ВКП(б) с 1919 года, Шмидт сразу стал играть заметную роль в начинаниях новой власти. В 20-х годах одновременно или последовательно он состоял членом коллегий Наркомпрода, Наркомфина, Наркомпроса, Госплана и Главного статистического управления. В 1921–1924 годах Шмидт заведовал Госиздатом, и в эти годы издательство выпустило множество отличных книг, включая большую часть «Психологической и психоаналитической библиотеки». Потом перешел на менее понятную должность заведующего секцией естествознания. Коммунистической академии, где, как сообщает Советская энциклопедия,

[1] Эта сторона многогранной деятельности О. Ю. Шмидта остается недооцененной историками. Л. Грэхэм, посвятивший Шмидту специальный раздел своей книги [39], о его психоаналитических интересах даже не упоминает.

«допустил ряд неправильных, недиалектических установок». Видимо, лишь быстрота реакции спасла его от участи многих его коллег по Комакадемии, попавших в 30-е годы примерно на те же широты, что и начальник ледокола «Челюскин», но в другом качестве. Героический полярник и талантливый организатор науки, он настолько соответствовал своей роли, что, находясь в самых горячих точках, пережил все волны репрессий. Для характеристики его влияния и степени доверия, которым он пользовался в научно-идеологических вопросах, стоит еще отметить, что в самые тяжелые полтора десятилетия, с 1924 по 1941 год Шмидт был неизменным главным редактором Большой Советской энциклопедии, дававшей официальный большевистский рейтинг всем феноменам мироздания, включая живущих и покойных вождей.

Первым президентом общества русских психоаналитиков стал Иван Дмитриевич Ермаков (1875–1942). Психиатр, ученик В. П. Сербского, Ермаков посвятил свои первые научные работы фронтовым наблюдениям над психическими заболеваниями русско-японской войны [40]. В 1911 году Ермаков остается в психиатрической клинике Московского университета после скандального ухода оттуда Сербского и Осипова в знак протеста против решения правительства, ограничившего традиционные университетские свободы. С тех пор между Ермаковым и Осиновым началась сильнейшая неприязнь. Действительно, их пути будут расходиться все дальше, демонстрируя возможности выбора, который стоял перед всей русской интеллигенцией.

Начиная с 1913 года печатные работы Ермакова связаны с психоанализом. Всю жизнь он много писал, и его необычные для врача литературно-художественные интересы проявлялись все сильнее с течением лет. В результате этой активности журнал «Под знаменем марксизма» писал в 1929 году, обличая в идеологических ошибках крупнейших русских философов: «Разве неизвестно, что по-русски Гуссерль читается Шпет, Фрейд, скажем, Ермаков, а Бергсон — Лосев?» [41].

В «Психоневрологическом вестнике» за 1917 год была напечатана статья Ермакова «О белой горячке». Номер вышел 25 января, как раз накануне революции. Знаменателен как предмет, так и концовка статьи, которая читается как кредо будущих советских психоаналитиков. «Мы живем накануне новой эпохи в развитии нашего общества. Не уходить от действительности, не одурманивать себя призваны мы, — но расширить зрачки наши, постараться понять и разобраться в том, что нас окружает, и отдать все силы для того светлого будущего, которое (мы верим) ждет нашу страну» [42]. В первые послереволюционные годы Ермаков был профессором Государственного психоневрологического института, в котором он создал отдел психологии. В 1921 году он организует Психоаналитический детский дом-лабораторию, в 1923 преобразованный в Государственный психоаналитический институт, директором которого Ермаков был до его закрытия. Он был и организатором в 1921 году

«Московского психоаналитического общества исследователей художественного творчества», работавшего с 1921 года.

Станислав Теофилович Шацкий (1878–1934) будет играть в истории Русского психоаналитического общества неожиданно большую, хоть и неявную роль. Член Государственного ученого совета и один из самых активных деятелей Наркомпроса, Шацкий был особо приближен к Н. К. Крупской, при жизни своего мужа пользовавшейся влиянием в гуманитарных вопросах. Бурная организационная активность Шацкого началась, впрочем, задолго до революции [43]. В 1906 году он организует в Москве общество «Сетлемент», опытную врачебно-воспитательную колонию, существовавшую на средства московских купцов во главе с известным меценатом И. Д. Сытиным. «Сетлемент» представлял собой сеть детских клубов (они назывались «английский», «американский», «австрийский» и т.д.) по 15 ребят в каждом, работавшие как маленькие самоуправляемые республики с выборными руководителями-детьми. Монархическая газета «Старая Москва» писала о затее Шацкого: «Чей дьявольский ум изобрел этот способ выработки из детей будущих фанатиков-революционеров, с малых лет прививая им парламентские привычки?» По данным проверки, приведшей к закрытию «Сетлемента» в 1908 году, в его помещении был «полный комфорт, все вещи сделаны солидно, всюду проведено электрическое освещение, имеются великолепные ванны». Дети, по мнению властей, воспитывались неправильно: обращались к старшим фамильярно, здоровались за руку, по каждому поводу созывали сходку, где выбирали председателя, секретаря и проводили тайное голосование.

В 1919 году Шацкий организовывает Первую опытную станцию по народному образованию, тоже основанную на самоуправлении. Ленин, узнав от Крупской об этой станции, реагировал положительно: «Вот это настоящее дело, а не болтовня». В 1928 году станцию посетил один из крупнейших американских философов Джон Дьюи. По его впечатлениям, работа Опытной станции была беспрецедентна. «Революция содействовала современным педагогическим реформаторам: в таком положении не были еще никогда реформаторы других стран», — писал он [44]. Опытная станция находилась в Малоярославце Калужской губернии, что не мешало Шацкому проводить два раза в месяц в Москве, на Малой Никитской, заседания педагогической секции Русского психоаналитического общества, председателем которой он был.

В 1934 году Шацкий, оттесненный со своих привычных ролей, мирно окончил свои дни на посту директора Московской консерватории, и Крупская успела написать ему трогательный некролог.

Интересны зигзаги жизненного пути и другого теоретика и организатора советской педагогики, также внесшего определенный вклад в развитие психоанализа в России — Павла Петровича Блонского (1884–1941). Как и остальные действующие в этой истории лица, в профессиональном плане Блонский сформировался до революции, которую встретил приват-доцентом, историком классической философии и эсером с подпольным

стажем. Крупнейший философ-неоплатоник А. Лосев писал, что работа Блонского «Философия Плотина» открыла наравне с книгами отца П. Флоренского эпоху нового понимания платонизма [45]. В собственной же автобиографии Блонский подчеркивает свою непричастность к традиционной педагогике; еще подростком он любил издеваться над нелепостями гимназического воспитания, а позже решил, что оно было «не смешно, а гнусно». По его мнению, вся дореволюционная педагогика была «очень, очень разработанной системой воспитания тупого и бессовестного человека». С революционной страстностью Блонский отдается «разрушению этого проклятого воспитания». Путь для этого он видел в трудовой школе. Позже он признается, что писал свои проекты трудовой школы в 1918 году так, «как будто бесклассовое общество уже построено» [46].

С 1922 года Блонский принимал участие в работе Наркомпроса, Он принимал участие в выработке новых учебных программ, так называемых программ ГУСа, которые Наркомпрос будет с трудом внедрять в жизнь последующие десятилетия. Похоже, эта работа не удовлетворяла Блонского. «Как к живому источнику», он обращается к педологии, став одним из ведущих ее теоретиков. Отходя от дел, в 1935 году Блонский пишет «Очерки детской сексуальности» — любопытную книгу, которая вся построена на диалоге с психоанализом [47].

Менее своеобразной фигурой среди членов-учредителей был В. И. Невский (1876–1937), занимавший в послереволюционные годы посты ректора партийного Университета им. Свердлова, руководителя партийной Комиссии по проверке деятельности Наркомпроса, директора Центральной библиотеки им. В. И. Ленина и заведующего Центральным домом просвещения... Как пишет современный историк, специально исследовавший его деятельность, «дела, которыми он руководил, были настолько разнообразны, что трудно указать, где же именно была его основная должность... более важно то, что Невский принадлежал к узкой группе пользовавшихся доверием партийных лидеров, которые руководили работой самых разных отраслей» [48].

Другой член-учредитель, уже знакомый нам А. К. Воронский (1884–1943), принадлежал к еще более узкому кругу большевиков-подпольщиков первого поколения. Во время учреждения Психоаналитического общества он был начальником Главного управления политического просвещения того же Наркомпроса и Главным редактором толстого литературно-политического журнала «Красная новь». Он «действительно принадлежал к победителям... Ирония судьбы в том, всех ожидала одинаковая участь», — вспоминала о Воронском Надежда Мандельштам [49].

Чьей-то умелой рукой в состав членов-учредителей были включены и несколько пользовавшихся уважением среди интеллигенции имен, выбранных со вкусом и символизировавших связь Русского психоаналитического общества с широкой интеллектуальной элитой. Среди них был искусствовед А. Г. Габричевский, один из лучших советских историков культуры. Его жена Н. А. Северцова, дочь знаменитого русского зоолога, так

рассказывала об их круге, который считали своим Густав Шпет и Михаил Булгаков, Василий Кандинский и Роберт Фальк: «Сюда входили все новые и новые люди, которые питались разумом друг друга, часто совершенно противоречивые и непримиримые... По вечерам ходили в гости, пили водку, ходили по арбатским подвалам пить пиво, ели мало, веселились много и никто не роптал на жизнь. Делали свое дело, получали гроши и через две недели сидели без копейки до получки» [50]. Квартира Габричевских, бывшая одним из центров этой жизни, находилась на Никитской, совсем рядом от особняка Государственного психоаналитического института. Чуть позже учредителей к Обществу присоединились невропатолог и будущий лидер педологии Арон Залкинд (см. Гл. 4 и 8); Михаил Рейснер (1869–1929), профессор государственного права, один из авторов первой советской конституции (как отец Ларисы Рейснер, романтической героини русской революции, он был тестем сначала Федора Раскольникова, а потом — Карла Радека); венгерский эмигрант-коммунист Н. Варьяш, ныне философ из Института красной профессуры, пишущий на темы фрейдомарксизма; большевистский дипломат Виктор Копп, который вскоре отправится послом в Токио... Тридцать членов Русского общества в 1923 году составляли примерно одну восьмую часть общего числа членов Международной психоаналитической ассоциации.

Как видим, врачи, а тем более практикующие аналитики, играли не очень заметную роль в этой группе; зато многие ее члены были видными большевиками, предельно близкими к высшей власти в стране. В организации Русского психоаналитического общества далеко идущий политический замысел кажется не менее важным, чем естественное желание таких людей, как Ермаков, Вульф или Габричевский, собрать вокруг себя единомышленников. Кто же был их высоким покровителем?

Хорошо осведомленный Жан Марти считает, что супруги Шмидты были родственниками старого большевика, наркома труда В. В. Шмидта, который мог оказать им действенную помощь в рамках своей политики поддержки «спецов», могущих принести пользу честным трудом на благо новой власти [51]. Сам А. Р. Лурия вспоминал, что организаторов Общества поддерживали «Радек и ряд других»; впрочем, он говорил это в начале 70-х, когда упоминание фамилий этих «других» все еще было невозможно [52]. Мне кажется, что наиболее серьезной фигурой, стоявшей за событиями, был Лев Троцкий, имевший специальные причины для поддержки психоанализа.

Благодаря своим высоким покровителям Психоаналитический институт получил в свое распоряжение замечательное помещение — особняк Рябушинского на Малой Никитской. Ученый секретарь института Александр Лурия, которому был 21 год, получил, по его словам, «великолепный кабинет, оклеенный шелковыми обоями, и страшно торжественно заседал в этом кабинете, устраивая раз в две недели, кажется, заседания психоаналитического общества» [53]. Потом этот дом был передан А. М. Горькому; сейчас там находится его музей.

Казанский инцидент

В 1923 году «Международный журнал психоанализа», выходивший под редакцией Э.Джонса, публикует информацию «Казанское психоаналитическое общество», помещенную наравне со сведениями о работе Венского, Британского, Берлинского и других хорошо известных обществ. Информация из Казани содержит список 14 членов Общества, примерно совпадающий с более ранним списком, найденным нами в архиве Лурии, еще один список 7 почетных членов (все — казанские врачи) и протоколы заседаний в Казани в 1922–1923 годах. Одновременно в раздел «Психоаналитическое движение», содержащий информацию о событиях в странах, где общества еще не были официально учреждены — во Франции, Швейцарии и т.д. — Джонс включил отчет о России. На деле здесь речь идет о Москве [54].

Заявление о приеме Русского психоаналитического общества в Международную ассоциацию, поданное на VII Конгресс ассоциации в Берлине (25–27 сентября 1922 г.), вызвало споры [55]. Президент Ассоциации Эрнест Джонс, готовивший Конгресс, предложил, приняв в члены только что образованное Индийское психоаналитическое общество, заявку Русского общества отложить рассмотрением. Вмешался сам Фрейд (это был последний Конгресс, на котором он присутствовал). Сказав, что он в курсе дела, он предложил все же Русское общество принять. Однако взял слово Дуглас Брайан, бывший в свое время заместителем Джонса по президентству в Британском обществе. Он заявил, что принятие Русского общества невозможно исключительно по формальной причине (Центральной дирекции не был вовремя представлен устав Русского Общества). Фрейд был вынужден согласиться, но заявил, что «рекомендует Конгрессу разрешить Центральной дирекции принять московскую группу, как только необходимые условия будут выполнены». Это предложение было принято.

После этого Джонс поднял новый вопрос. Он предложил изменить устав Международной ассоциации таким образом, чтобы она получила право напрямую присоединять местные группы, существующие в странах — членах ассоциации. Фрейд уточнил, что эта процедура должна применяться лишь к небольшим местным группам, после чего поправка прошла единогласно. В ходе дискуссии выступила член Венского и Швейцарского обществ Сабина Шпильрейн, высказав неизвестные нам, к сожалению, суждения о применимости данной поправки к взаимоотношениям групп в России. Речь могла идти только о конкуренции между московской группой психоаналитиков, которую поддерживал Фрейд, и казанской группой, которой помогал Джонс. Компромисс, с точки зрения высшего руководства, достигался известным путем — предоставлением Казани некоего суверенитета.

По-видимому, именно сложившееся положение было одной из главных задач визита Отто и Веры Шмидтов к Фрейду и Абрахаму осенью 1923 года [56]. Абрахам был секретарем Международной ассоциации, поддержка его и

Фрейда могла перевесить сопротивление президента Джонса. Действительно, после переговоров журнал Международной ассоциации сообщает о решении Джонса временно, с последующим утверждением на Конгрессе, принять в Ассоциацию «Московское общество». Зальцбургский конгресс в апреле 1924 года подтвердил это решение.

А перед отъездом Шмидтов состоялись переговоры руководителей московской и казанской групп. Результатом было следующее решение, принятое в Казани 4 сентября: «В целях концентрации психоаналитического движения в России представляется желательным вхождение членов Казанского психоаналитического общества во Всероссийский психоаналитический союз с центром в Москве. В настоящее время согласован вопрос о переезде в Москву А. Р. Лурии, докторов Б. Д. Фридмана и Р. А. Авербух» [57]. Лурия сразу же избирается секретарем Русского общества.

Стоит отметить, что даже в 1957 году, составляя справочный аппарат к своей трехтомной биографии Фрейда, Джонс продолжал рассматривать Казанское общество как независимое подразделение Международной ассоциации. Похоже, что торможение Джонсом вопроса о принятии Русского общества и некие скрытые противоречия его по этому поводу с Фрейдом объясняются его особой заинтересованностью в судьбе казанского общества. Понимая необходимость в конце концов уступить требованиям России, он выговаривает право принятия и «местных групп», то есть Казанского общества наравне с Русским. Разыгрывая не вполне понятную политическую игру, Джонс получает на это решение согласие Фрейда. Озадаченные московские организаторы, располагавшие огромными возможностями внутри страны, предпочли решить международную ситуацию, попросту переведя Лурия с его людьми в Москву. Проблема перестала существовать вместе с самим Казанским кружком. Можно даже подумать, что двадцатилетний Лурия и вел к этому всю интригу. Интересно еще, что в своих последующих официальных отчетах в должности секретаря Русского общества Лурия, видимо, не желая вспоминать эту историю, утверждал, что общество сразу же было признано международным психоаналитическим движением.

Три организации советских аналитиков

Один из тех психоневрологов бехтеревской школы, которые были убежденными противниками психоанализа, М. И. Аствацатуров, писал в 1924 году, что «последователи фрейдовского учения составляют особую касту с отдельными журналами и отдельными съездами» [58]. Возможно, так оно и было в России, да, пожалуй, так было везде.

Списки членов Русского психоаналитического общества несколько раз публиковались журналом Международной ассоциации. Список, опубликованный в 1924 году, состоял из знакомых нам членов-учредителей, к которым прибавились осенью 1923 года Сабина Шпильрейн и три казанских психоаналитика во главе с Александром Лурией [59]. В списке,

переданном в Международную ассоциацию шестью годами позже, не было большей части прежних искусствоведов и писателей, но в него вошли теперь фамилии, которые сыграют в будущем выдающуюся роль в советской науке: Л. С. Выготский, завоевавший мировое признание своими работами по теории мышления, и Н. А. Бернштейн, будущий создатель «физиологии активности» [60].

Деятельность Русского психоаналитического общества тесно пересекалась с двумя другими организациями аналитиков: Государственным психоаналитическим институтом и Детским домом-лабораторией. Очевидно, что все три организации существовали благодаря активности одной и той же группы. Директором института и Президентом общества до 1924 года был Иван Ермаков. Большую роль в обоих играл Моисей Вульф, руководивший медицинской секцией Общества (а потом сменивший Ермакова на посту его президента) и диспансерным приемом в Институте. Секретарем Общества и ученым секретарем Института был Александр Лурия. Руководство Детским домом-лабораторией тоже осуществлялось Ермаковым, но реально как за научную, так и за практическую работу отвечала Вера Шмидт. Ее муж издавал в руководимом им Государственном издательстве многотомную «Психологическую и психоаналитическую библиотеку», составление и редактирование которой было делом жизни того же Ивана Ермакова.

Эта группа сложилась довольно рано, во всяком случае до 1921 года, и в этом компактном виде просуществовала примерно пять-шесть лет. Она имела широкие интеллектуальные и политические контакты, но новые люди в эту группу лидеров так и не вошли. Удивительным примером в этом смысле является появление в ней и быстрое исчезновение Сабины Шпильрейн. Приехав в Москву в 1923 году, на что ее, как мы помним, благословил сам Фрейд, Сабина Николаевна с энтузиазмом пыталась включиться в работу. В учебном плане института [61] значился ее курс лекций, семинарий по детскому психоанализу, практикум с учениками (то есть учебные анализы) и еще амбулаторный прием вместе с ее новым ассистентом доктором Б. Фридманом. Если что-то из этого осуществилось, то ненадолго: вскоре Шпильрейн уехала из Москвы в Ростов-на-Дону, где ее ждало тяжелое будущее. Все три психоаналитические организации не смогли удержать человека, равного которому по квалификации в России не было.

В 1923 году, сообщал Международный журнал психоанализа [62], в России был сформирован Комитет, функцией которого была координация действий Института и Общества. Президентом Комитета стал И. Ермаков, вице-президентом О. Шмидт, секретарем А. Лурия и членами — С. Шпильрейн и М. Вульф. Этот орган, включавший, за исключением Шмидта, действительно компетентных аналитиков, более, к сожалению, в документах не фигурирует.

В архиве Ивана Ермакова находятся два варианта плана работы Государственного психоаналитического института на 1923 год, позволяющие ответить на многие неясные вопросы. Психоаналитический институт характеризуется как резиденция Психоаналитического общества, место его

собраний «как организационных, так и пропагандистских». «Идейное руководство остается за Обществом». В институте предполагалось организовать 5 подразделений: Детский дом-лабораторию, амбулаторию, клинику, психологическую лабораторию и библиотеку. Ермаков и Вульф вместе собирались читать курс по общему психоанализу; кроме того, Ермаков планировал особый курс по приложению психоанализа к педагогике.

Из 11 планировавшихся Институтом семинаров десять должны были иметь художественно-педагогическую направленность. В руководстве ими были по несколько раз задействованы те же лица, но встречаются и новые имена: так, предполагалось, что семинар «Музыка у детей» будет вести Н. Я. Брюсова. Начальник Главного управления социального воспитания Наркомпроса Г. П. Вейсберг брался за семинар по организации детского коллектива. Исключением, поставленным, правда, в списке на первое место, является лишь семинар Вульфа по психотерапевтическому применению психоанализа. Кроме семинаров, в Институте проводились заседания Педагогической секции Общества совместно с Детской опытной станцией Шацкого и заседания литературной секции с участием Воронского.

В другом, более коротком варианте плана мы встречаем несколько иной набор лиц. Первым номером здесь стоит Сабина Шпильрейн: консультации и психоанализ детского возраста, научный анализ (амбулатория, консультация, курс лекций). Далее идут Вульф, Ермаков, Александр Лурия, за которым, видимо, были закреплены научно-литературные функции («психологическая система психоанализа — литературные обзоры; психологическая лаборатория») и два менее известных сотрудника из Казани — Б. Фридман и Р. Авербух. Список замыкала совсем незнакомая нам фамилия А. Белоусова, рядом с которой скромно написано: медицинский психоанализ.

Между Львом Троцким и Васей Сталиным

Своеобразием ситуации в России была необыкновенная близость советских психоаналитиков к верховной власти. Эта близость, которая видна во множестве пересечений Русского психоаналитического общества с составом высших органов власти и в сходстве наиболее своеобразных их высказываний с доминирующей линией идеологических исканий, более нигде и никогда не встречалась и представляет собой, пожалуй, самую яркую особенность русского анализа 20-х годов. Эта близость оказалась очевидной даже в таком далеком от политики начинании московских аналитиков, как Психоаналитический детский дом-лаборатория, фактической главой которого была Вера Шмидт.

Педагог по образованию, она не имела, видимо, профессиональной аналитической подготовки. Тем не менее ее публикации в международных психоаналитических журналах получали высокие оценки коллег за рубежом. Они были посвящены методам и опыту работы Детского дома-лаборатории, а

также монографическому описанию развития сына Шмидтов Алика. Считается, что этими работами интересовались Анна Фрейд и Мари Бонапарт. Вильгельм Райх, впрочем, отмечал «полускептическое, полувраждебное отношение» руководства Международной психоаналитической ассоциации к опыту Веры Шмидт [63].

Помимо книги Веры Шмидт и регулярных отчетов Александра Лурия, публиковавшихся Международной ассоциацией психоанализа, мы располагаем рядом архивных документов, касающихся работы психоаналитического детского дома. Это рукописный черновик подробного отчета Ермакова под названием «Психоаналитический институт-лаборатория «Международная солидарность» с изложением истории его создания, источников финансирования, «особенностей педагогического подхода» и планов научной работы». Текст не датирован, но предположительно его можно отнести к 1923 году [64]. Кроме того, это учредительные документы Института, анкетные листки его сотрудников, отчеты комиссий Наркомпроса по проверке деятельности Детского дома, Постановления научно-педагогической секции и Государственного ученого совета Наркомпроса по этим проверкам и связанная с ними переписка [65]. Некоторые подробности имеются также в неопубликованных воспоминаниях А. Лурии и в информации (идущей, вероятнее всего, от М. Вульфа), опубликованной Ж. Марти.

Детский дом-лаборатория был открыт в августе 1921 года в особняке на Малой Никитской на втором этаже того же здания, где находился Государственный психоаналитический институт. Организационное его место в запутанной структуре Наркомпроса с самого начала было проблемой. Согласно отчету Ермакова, сначала он был открыт при Академическом центре, которому, наряду с Главнаукой, были подчинены научные институты, затем был передан Главному управлению социального воспитания (Главсоцвос), при котором состояли детские дома, «и наконец, в особом заседании Нарком просвещения постановил сохранить Институт при Академическом центре, где он состоит в настоящее время». Таким образом, он фактически рассматривался как научно-исследовательский институт. В формальном плане, а скорее всего и по существу дела, Государственный психоаналитический институт и Детский дом-лаборатория были одной и той же организацией. Ермаков иногда именует ее Психоаналитическим институтом-лабораторией.

Однако от Академического центра Институт денег не получал. Его финансировали, по отчету Ермакова, «частично» как «шефы», три советские организации: Главсоцвос, Наркомат продовольствия и Госиздат, причем последний отчислял Институту некоторый процент прибыли от издаваемой им «Психологической и психоаналитической библиотеки». Институт испытывал непрерывные финансовые и продовольственные трудности. В марте 1922 года его посетил представитель Союза Германских работников ума и рук «Унион» товарищ Витт. «Заинтересовавшись идейно работой института» и проведя переговоры с представителями Коминтерна, ГУСа и Союза

русских горнорабочих, он «принял как уполномоченный союза «Унион» шефство над детским домом». После этого психоаналитическое учреждение и получило название «Международная солидарность» [66].
Персонал института состоял из штатного директора, 8 руководителей с педагогическим стажем и «работников, которые не смогли войти в штат вследствие бывших сокращений». К последним относился, в частности, М. В. Вульф.

В «идейной» части Ермаков акцентирует «успехи нового направления психологии, порвавшего всякую связь с прежними идеалистическими течениями», и ставит научную задачу «методических наблюдений в специальном учреждении для детей», которых не велось «нигде, ни на Западе, ни у нас». Практический смысл этой научной деятельности состоит в разработке методов профилактики болезненных проявлений развития психики. Психоанализ характеризуется как «могущественный метод освобождения ущербного человека от его социальной ограниченности». Тут же ставится задача «воспитания социально-ценной личности в коллективе».
Описывая контингент своих воспитанников, Ермаков делает замечание, которое бросает совершенно новый свет на характер возглавляемого им учреждения. «Дети: большинство их дети партийных работников, отдающих все свое время ответственной партийной работе и не могущих воспитывать детей» [67]. В этом же смысле высказывался и Лурия: по его воспоминаниям, в «психоаналитическом детском саду» воспитывались дети высокопоставленных персон, в частности, сын Шмидтов (тот самый Алик, которого на многих страницах описывала Вера Шмидт) и... сын Сталина [68]. Речь может идти о Василии Сталине, родившемся в 1921 году.

По-видимому, психоаналитический детский дом-лаборатория представлял собой элитарное заведение, куда партийные функционеры, «не могущие» или не желающие воспитывать своих детей, сдавали их в хорошие руки. Конечно, при любых обстоятельствах, с помощью даже и Германского союза работников ума и рук, они обеспечивали это заведение всем необходимым. Психоанализ, научные наблюдения, руководство со стороны Академического центра и прочие тонкости были отчасти хорошим прикрытием для привилегий, отчасти модным делом, против которого до поры до времени не было оснований возражать.

Тем не менее принципы педагогического подхода в изложении Ермакова звучат убедительно. По крайней мере в теоретическом плане он действительно выстраивал психоаналитическую работу. Наиболее важным для последующего развития и наименее изученным, пишет он, является возраст до 4 лет. Огромное значение имеют эрогенные зоны и инстинктивные влечения. «Отрицательное, неприличное для взрослого не есть таковое для ребенка. Каждое проявление ребенка ценно, так как позволяет нам глубже и лучше познакомиться с его внутренним миром. Но для того, чтобы ребенок мог свободно обнаружить себя, должна создаться атмосфера полного доверия и уважения как со стороны взрослого к ребенку, так и наоборот». И последний принцип, который совпадает с главным

пафосом собственных теоретических работ Ермакова: «Рост ребенка происходит путем ограничения значения для него «Принципа удовольствия» над «Принципом реальности». Однако такое ограничение должно проводиться самим ребенком и вести его не к чувству слабости, а к чувству овладения, сознательного достижения».

Персоналу Института-лаборатории следовало усвоить, что:
«Изучать ребенка можно, только установив с ним контакт, раппорт». «Контакт возможно осуществить только в том случае, если персонал работает над теми неизвестными, лежащими в бессознательном процессами, которые мешают видеть, понимать и находиться в контакте с ребенком и вызывают с его стороны реакции в виде непонятных капризов или других проявлений».

«Через контакт (перенесение) с руководительницей ребенку делается возможным связаться с реальностью и отказаться от таких удовольствий телесного характера (напр., анальных), которые задерживают его развитие и делают асоциальным».

«Для этого ребенок должен не только доверять руководительнице в плане обычных отношений; но и в тех областях, которые обычно считаются неприличными с точки зрения взрослого, а не ребенка. Многое, что служит исцелению больного от невроза, делается подвластным человеку с того момента, когда он найдет в себе мужество открыться себе и другому» [69].
Существовал и план научной работы, включавший ознакомление с детьми, ведение дневников и характеристик, выявление типов доминирования эрогенных зон, анализ игр, детских страхов, характера сна и продукции детского творчества — рисунков и построек.

Вместе с тем в бумагах Ермакова нет указаний на принцип, который с самого начала рассматривался как условие успеха всего предприятия — что все сотрудники и воспитательницы психоаналитического детского учреждения должны сами пройти анализ. Как писал о намерениях московского Детского дома в журнале Международной ассоциации Осипов, «все, кто будут смотреть за детьми, будут проходить анализ, чтобы свести к нулю опасные влияния их собственных комплексов на их работу» [70]. Эта идея, вероятно, была настолько нереализуемой в конкретных условиях, что Ермаков даже и не обещал ею заниматься. Ему еще придется за это расплачиваться.

Проверки и особое мнение

Документы проверок, найденные нами в архиве Наркомпроса, позволяют почувствовать атмосферу, в которой проходила деятельность московских аналитиков (О пяти проверках упоминает и Жан Марти [71]).

В апреле 1923 года психоаналитический Детский дом на Малой Никитской посетила инспекция в составе члена Государственного ученого совета И. Л. Цветкова, инспекторов Наркомпроса Р. В. Лариковой и П. В. Карпова. Ее подробный отчет [72] был представлен по подчиненности

Детского дома-лаборатории, в Академический центр. Согласно отчету, Дом был открыт в августе 1921 года. Штат его тогда составлял 51 человек. На момент проверки вследствие ряда сокращений штат составлял 18 человек. Заведующим Детским домом инспекция считает Ермакова. В начале работы детей содержалось 24 человека, на момент проверки — 12. Из них — 5 четырехлетних детей, 4 трехлетних и 3 двухлетних. Дети опрятны и общительны. Кухня, по мнению инспекторов, хорошая. Канцелярия ведется хаотично. «Так называемый архив — в полном беспорядке». Финансирование идет из 3 источников. За три месяца 1923 года Детский дом-лаборатория получил 30000 руб. из Мосфинотдела, 3600 руб. из Госиздата и 1545 руб. — от родителей содержащихся в нем детей. (Понятно, что те самые ответственные партработники, у которых не было времени на воспитание своих детей, предпочитали оплачивать заботу о них государственными деньгами.) Кроме того, в июне 1922 года была доставлена первая партия продуктов от германского профсоюза: 20 пудов муки, 200 банок сгущенного молока и многое другое. Партии продуктов из Германии поступали и позже. Кроме того, Детский дом снабжался продуктами из Наркомпрода и Главсоцвоса. В кладовых комиссия нашла запас неизрасходованных продуктов.

О научной части работы сообщается немного. Дети наблюдаются при помощи руководительниц, которые ведут дневники, составляют характеристики, графики и т.п. Детям предлагалось рисование, вырезание, детские игры и т.д. Все это тщательно записывается, и в настоящее время собран уникальный материал. Он весь изучается под углом зрения И. Д. Ермакова. Работа носит описательный характер. Лаборатории нет; обычных медицинских обследований детей не ведется. Нет даже обычных весов, и дети не взвешиваются.

Заключение комиссии (естественно, в орфографии оригинала) таково: «Детский дом внешне поддерживается хорошо, то же относится и к живущим детям. Но не подкупающая внешность должна являться ценностью и целью, оправдывающих существование столь дорого стоящего Детского дома, а его научная работа... План и методы обследования носят случайный дилетантский характер, так как все это относится лишь к описательному характеру; лабораторная работа полностью отсутствует, и лица, заинтересованные в правильной постановке научного обследования детей, сами с этой областью знакомы слабо, чтобы не сказать более.

Внешность и наблюдение, конечно, реализовать просто, поэтому эта первая стадия работы выполнена. К серьезной же лабораторной работе не только не приступлено, но в этом направлении не делается даже и попыток, хотя Детский дом претендует на название лаборатории и Института, но в виду того, что научные работы его не стоят на должной высоте, Комиссия высказывается против того, чтобы считать данный Детский дом среди научных учреждений».

26 апреля 1923 года дело рассматривалось Президиумом научно-педагогической секции ГУСа. Председательствовал М. Н. Покровский. Из

знакомых нам лиц присутствовали И. Л. Цветков, П. П. Блонский, С. Т. Шацкий и 3 других члена Президиума. Приглашен был и Ермаков. В этом протоколе речь идет уже не о Детском доме-лаборатории, а о Психоаналитическом институте-лаборатории «Международная солидарность», Выслушав инспекторов и Ермакова, Президиум постановил:

«а) считать, что исследовательская работа, производимая в Детском доме, в ее настоящей постановке поглощает непропорционально большое количество государственных средств по сравнению с даваемыми ею результатами;

б) что нет оснований рассчитывать, что деятельность психоаналитической лаборатории «Международная солидарность» возможно использовать для непосредственных задач, стоящих перед Государственным ученым советом» [73].

При особом мнении остался С. Т. Шацкий. Его стоит заслушать [74]. «Полагая, что постановление Президиума резко ставит вопрос о закрытии данного Детского дома, я не могу согласиться с его основаниями.

Проблема, над которой работает данное учреждение настолько важна, что всякая попытка в этом направлении должна быть поддержана. В данном случае бесспорно констатирована наличность хорошего ведения педагогического дела — отношение к детям внимательное, осторожное, любовное. Педагоги работают много над методами наблюдения и записи педагогических явлений. Их материал очень интересен. В научном отношении желательно привлечение большего количества сил, но, по-видимому, это не так просто, и в вину данному учреждению поставлено быть не может. В силу этого речь может быть только об улучшении и, быть может, реорганизации (хозяйственной) некоторых сторон работы учреждения — большей хозяйственности, организации анатомо-физиологических наблюдений, чем о полном прекращении работы. Огромное количество научных сил во всем свете разрабатывают проблемы психоанализа в педагогике. Мы имеем целый ряд интереснейших иностранных работ (напр., «Психоанализ в школе») — и в России единственное место, где эти вопросы могут найти свое применение — есть. (Это) Психоаналитическое общество и его база — данное детское учреждение. С. Шацкий».

Через два дня дело было представлено в вышестоящую инстанцию — Президиуму Государственного ученого совета. ГУС воздержался от собственного суждения в непростой ситуации, постановив передать материалы еще выше, в коллегию Наркомпроса. Возможно, по этому поводу Президиум ГУСа пытается в эти дни пригласить на свое заседание Н. К. Крупскую — для «обсуждения вопросов, касающихся научно-педагогической секции». Близость к ней Шацкого была известна всем.

Два заседания в один день

16 мая Президиум Наркомпроса под председательством М. Н. Покровского («третьего кита Наркомпроса» после Луначарского и Крупской,

как характеризует его историк [75]), по докладу Шмидта принял постановление сохранить Институт-лабораторию «Международную солидарность» — «в виде опыта на один год» и создать для улучшения его работы еще одну комиссию [76]. На этот раз она была составлена не из полуграмотных инспекторов, а, наоборот, из лучших специалистов, которые были причастны к психоанализу или же явно сочувствовали ему. Председателем комиссии был назначен высокопоставленный чиновник Наркомпроса О. Л. Бем, членами — знакомые нам О. Ю. Шмидт, П. П. Блонский, К. Н. Корнилов и П. И. Гливенко. Таким образом, в комиссии из 5 человек трое были членами-учредителями Русского психоаналитического общества; двое, Блонский и Корнилов — крупными и компетентными психологами.

Комиссия работала, а вокруг Психоаналитического института с Детским домом-лабораторией продолжали сгущаться бюрократические тучи: 9 июля обследования «Международной солидарности» потребовал уже сам Совет народных комиссаров [77]. Архив сохранил для нас длинную переписку Наркомпроса и Совнаркома, в которой вышестоящее ведомство требует отчета о результатах проверки, а нижестоящее отвечает отписками. Судя по тому, что интересующее нас учреждение фигурирует в этой переписке как Детский дом-лаборатория «Международная солидарность», тревога инстанций была вызвана деятельностью Детского дома, а не психоаналитического института.

Сохранились протоколы совещаний этой комиссии, на основе которых можно составить представление о стиле ее работы [78]. Первый раз комиссия собралась 17 сентября; присутствовали Бем, Шмидт, Корнилов и секретарь. К делу, судя по протоколу, отнеслись серьезно. Слушали: о составе комиссии. Постановили: привлечь к деду отсутствующего члена комиссии Блонского. Пригласить в качестве экспертов С. Шпильрейн и А. Лурия. Начать с обследования на месте, выезд в институт-лабораторию назначить на 20 сентября.

Этим творческим планам, однако, не дано было сбыться. В тот же день 17 сентября Комиссия собирается второй раз в присутствии заведующего Главнаукой Н. Ф. Петрова. Безо всяких осмотров, экспертиз и отсрочек принимаются готовые 5 пунктов решения. Констатируется «большая педагогическая ценность этого единственного не только в России, но и в Европе учреждения, которое действительно может изучать явления психической жизни ребенка в условиях, гарантирующих объективность». По мнению комиссии, это учреждение призвано, «базируясь на данных психоанализа, искать методы формирования социально ценной личности в коллективе», для чего необходимо расширить задачи Детского дома в сторону «изучения социальных начал развития ребенка». Деятельность Детского дома комиссия рекомендовала подчинить руководству Психоаналитического института «при условии руководящего влияния в его работе работников-марксистов». Что касается детей, то рекомендовалось усилить их «пролетарский состав», увеличить их количество против

нынешних 12-ти и тем самым удешевить содержание каждого ребенка. И воспитательной, и научной работе Дома комиссия дала наивысшую оценку.

Кто же писал эти пункты? Ясно, не эксперты Шпильрейн и Лурия, которых так и не успели привлечь; и даже не Шмидт с Корниловым, которых, похоже, поставили перед фактом; но и не Петров, никакого отношения к психоанализу не имевший. Позднее весь составленный тогда Протокол был продублирован в представленном в Наркомпрос Постановлении комиссии. Только один пункт появившегося в тот день текста выпал из Постановления. Этот пункт очень характерен и, более того, поразителен: «г) поручить Главнауке в ближайшее время поставить на очередь вопрос об организации Психоаналитического института и его взаимоотношениях с Детским домом».

Тот, кто диктовал комиссии свои суждения о психоанализе, кажется, забыл, что Психоаналитический институт в системе Главнауки уже существует! Но это человек, политически заинтересованный в местном психоанализе; человек, грамотно изъясняющийся как о психоанализе, так и на идеологические темы; человек, более могущественный, чем Шмидт или Шацкий; человек, который мог диктовать Петрову, что тому делать в его ведомстве, и его указания выполнялись в тот же день; и, наконец, человек, который, зная, дети каких родителей воспитываются в детском Доме, не только не боится указать на это, но предлагает разбавить их детьми пролетариев... Из всех известных фигур это мог быть только Троцкий.

Как раз в это время, всего через 10 дней после описываемых событий, Троцкий шлет И. П. Павлову письмо, в котором рассказывает о своем знакомстве с фрейдизмом, утверждает его относительную ценность и по сути дела предлагает свое шефство в деле синтеза павловской теории условных рефлексов с фрейдовским психоанализом. Конечно это не случайное совпадение дат. Письмо Троцкого имело для него принципиальное значение, что видно хотя бы из того, что оно было включено им в издававшийся в 1927 году том его Собрания сочинений, одну из последних его публикаций в СССР <...>. Не случайным представляется и совпадение бюрократических идей: предложение Петрову организовать новый психоаналитический институт в резолюции комиссии и предложение Павлову заняться «фрейдизмом» в письме Троцкого. Характерны и ошибки Троцкого: московским психоаналитикам, нуждающимся в политической поддержке, он, если верно наше предположение, предлагает создавать институт, который у них уже есть; а политическую поддержку предлагает Павлову, в это время избегавшему сотрудничества с большевиками и от поддержки Троцкого с негодованием отказавшегося...

Как бы то ни было, могущественное вмешательство решило вопрос о судьбе существующего в системе Главнауки учреждения, которое сразу же перешло в разряд «единственного не только в России, но и в Европе».

В октябре коллегия Наркомпроса под председательством А. В. Луначарского утвердила доклад этой комиссии, признав ее выводы «совершенно правильными» [79]. В принятом Наркомпросом Постановлении

первым пунктом значилось «признать необходимым сохранение Детского дома, ведущего чрезвычайно ценную работу по наблюдению и изучению ребенка вообще и детской сексуальности в частности», после чего как руководящие указания воспроизводились все выводы комиссии. Особенно интересно здесь упоминание детской сексуальности, которая вообще-то никогда не пользовалась внимание руководителей Наркомпроса. Постановление было направлено наверх, где было принято к сведению» на заседании Малого Совнаркома 25 января 1924 года, и наконец 6 февраля его утвердил от имени Большого Совнаркома А. И. Рыков [80].

Перенос в условиях коллектива

Сразу после получения высокой поддержки супруги Шмидт отправляются в Вену, где докладывают о своих достижениях самому Фрейду. В архиве Наркомпроса сохранились сведения о «Заграничной командировке сотрудницы Психоаналитического института В. Ф. Шмидт и куратора института О. Ю. Шмидта в сентябре 1923 года с целью ознакомления Интернационального общества психоаналитиков с достижениями в Москве» [81].

18 октября 1923 года Отто и Вера Шмидт представляют в Московское психоаналитическое общество свой отчет о поездке в Берлин и Вену с «целью прямых контактов с психоаналитическими группами». Согласно этому отчету, который опубликован Жаном Марта, «особый интерес был проявлен к работе Московского детского дома и Государственного психоаналитического института. Профессор Фрейд, доктор Отто Ранк и доктор Карл Абрахам высказали серию интересных суждений по поводу работы Детского дома. Обсуждался, в частности, вопрос о соотношении коллективного воспитания и психоанализа (судьба эдипова комплекса в условиях коллективного воспитания)» [82]. Эта дискуссия, в которой московские организаторы психоанализа разговаривали на равных с мировыми его лидерами, признавшими их специфические проблемы достойными обсуждения, является, наверно, кульминацией в развитии русского психоаналитического движения. История распорядилась так, что практически одновременно супруги Шмидт добились одобрения и от Фрейда, и от Троцкого; и от правления Международного психоаналитического общества, и от президиума Наркомпроса. Сразу после их визита Международная ассоциация принимает Русское психоаналитическое общество в качестве полноправного члена.

Но триумф — если то действительно был триумф — продолжался недолго. Вокруг московского психоанализа начинает закручиваться новая интрига.

В июле 1924 года в адрес «Куратория при Психоаналитическом институте» поступает многостраничное обращение педагогического коллектива Детского дома-лаборатории, подписанное семью руководительницами-воспитательницами (Е. Фридман, Р. Папернова, В. Шмидт, Л. Егорова, Е.

Ульрих, Б. Гефт) [83]. На основе своего трехлетнего опыта коллектив пришел к выводу о невозможности продолжать работу при существующих условиях. За границей, сообщают педагоги, основным требованием для занятий психоанализом является очень серьезная подготовка в этой области. После такой подготовки работа с детьми, их воспитание и, в особенности, половое воспитание, не вызывает у педагога «внутренних конфликтов, страшно тормозящих работу и отражающихся на состоянии его нервной системы». Такой подготовки, подчеркивают авторы обращения, они не проходили. Вследствие этого в Детском доме-лаборатории сложилась особая ситуация. «...Тяжелейшая атмосфера основана на так называемом эффекте перенесения, о котором Фрейд очень много и подробно пишет в своих работах. Некоторая доля детских отношений к отцу или матери переносится на другое лицо... Это влечет за собой огромную внутреннюю зависимость от этого лица».

Далее это теоретическое вступление получает более конкретную расшифровку. Суть дела оказывается в конфликте педагогов с руководителем Психоаналитического института И. Д. Ермаковым: «Момент перенесения является могучим средством воспитания, но в условиях нашего Детского дома при недостаточном уважении со стороны руководителя к личности педагога он... превращается в отрицательное перенесение... Благодаря тому, что во главе учреждения стоит одно лицо, оно и являлось единственным объектом перенесения для всего коллектива. Создавшееся огромное чувство зависимости ничем нельзя было преодолеть, так как мы не были проанализированы», — писали педагоги. Они, однако, более чем высоко оценивают результаты работы и вовсе не хотят закрывать дело: «Детский дом-лаборатория, как единственное в мире учреждение, где основные положения психоанализа применяются к педагогике, возбуждает огромный интерес». Здесь собран «единственный в своем роде материал, где имеются данные о свободном половом развитии детей». Материал этот, однако, никем не используется из-за множества недостатков в руководстве работой: отсутствие плана и метода... случайность заданий... полная невозможность проявить инициативу... «Следствием является большая неудовлетворенность в работе и полная невозможность наладить ее собственными силами». Более того, собранный материал остается недоступен, даже сотрудники Психоаналитического института и члены Психоаналитического общества не имели доступа к работе Детского дома, и «создается совершенно ненормальное положение, что весь этот огромный материал собран и собирается для одного лишь человека» (вспомним, что С. Шпильрейн тоже не устраивало, что в Психоаналитическом институте она не имеет возможности ни лично наблюдать детей, ни проводить анализ педагогам, отчего ее работа с ними имеет характер «чисто теоретических рассуждений и «платонических советов»).

Далее еще раз «громадная неудовлетворенность» персонала соседствует с «исключительной общественной важностью учреждения». Полная дезорганизация... полная оторванность в работе... за три года

сменилось 50 руководительниц... Все это повлекло за собой разложение коллектива.

Предложения педагогического коллектива были разнообразны и так же хорошо продуманы, как и констатирующая часть. Во главе Детского дома должно стоять «лицо с большим общественно-педагогическим опытом. В качестве консультантов должны быть привлечены «некоторые из членов РПСАО». Организовать при Психоаналитическом институте переподготовку персонала Детского дома, которая займет 1–2 года. На время подготовки основного кадра нанять временный персонал, так как психоаналитическую подготовку с работой совмещать невозможно.

Этот неповторимый документ допускает несколько интерпретаций. С одной стороны, это похоже на «бабий бунт», обычный в советской системе результат работы женского коллектива с руководителем-мужчиной. С другой стороны, очевидным корнем конфликта явилось несовпадение неких интересов супругов Шмидт (один из которых — адресат, а другая — несомненный автор этого обращения) и Ермакова. Учитывая, что Шмидты недавно вернулись из Вены и Берлина, весьма вероятно, что предметом спора было влияние или представительство в Международном психоаналитическом обществе. Возможно, именно Отто Юльевич прочил себя на место нового руководителя отечественного психоанализа. Нельзя, конечно, отрицать и правоты самих воспитательниц, которым действительно не хватало квалификации для выполнения психоаналитической работы; и их оценку организационным способностям Ермакова у нас нет оснований поставить под сомнение. Наконец, на этом частном конфликте могло сказываться начинающееся изменение политической ситуации вокруг психоанализа.

Письмо педагогического коллектива, направленное в «кураторий», хранится в архиве Наркомпроса. Каковы бы ни были мотивы Шмидта, а именно он был единственным лицом, которое в официальной переписке называлось куратором Психоаналитического института, он дал этому письму ход. Главнаука, естественно, назначает новую комиссию. Психоаналитическое общество проводит 3 июля свое слушание дела. В резолюции признано, что «Детский дом-лаборатория может работать в полном соответствии с требованиями психоанализа только при наличии руководительниц, которые все хорошо знают психоанализ теоретически и практически и сами через психоанализ прошли». Психоаналитическому институту было рекомендовано срочно приступить к подготовке такого персонала, до завершения которой «Институт не может взять на себя ответственности за педагогическую работу дома». На этот период признано целесообразным полное административное разделение обоих учреждений при сохранении их обоих в особняке на Малой Никитской, что необходимо для «обеспечения возможности для Психоаналитического института вести наблюдения и ставить опыты в [Детском] доме». Руководящий персонал подбирается Детским домом самостоятельно, «однако из лиц, принимающих основные ценности психоанализа» [84].

Куратор умывает руки

«В 20-х годах заниматься психоанализом не только не было опасно. Это было престижно», — вспоминает Н. Н. Трауготт [85]. Но постепенно тучи сгущались. 24 апреля 1924 года заведующий научным отделом Главнауки А. П. Пинкевич потребовал произвести «коренную реорганизацию в направлении расширения задач института в области педологических исследований» (там же). В который раз власть пыталась смешать психоанализ с новой наукой о переделке человека... Очередная комиссия проголосовала за то, чтобы считать это очень желательным, но практически неосуществимым [86].

В конце ноября 1924 года Психоаналитический институт и Детский дом-лаборатория «Международная солидарность» были административно разделены за счет деления бюджета института пополам. Кроме того, все работавшие в нем педагоги были уволены и на их место были взяты 4 новых воспитательницы. Осуществление идеи Веры Шмидт о найме временного персонала на год-два психоаналитической подготовки «основного кадра»? К сожалению, произошло что-то другое.

В ноябре 1924 года Отто Юльевич Шмидт направил письмо заместителю наркома просвещения В. Н. Яковлевой и заведующему Главнаукой Н. Ф. Петрову. Там говорилось:

«Уважаемые товарищи!

3 года назад при моем содействии был организован Детский дом-лаборатория при психоаналитическом институте. Так как я с психоанализом хорошо знаком, состою в Президиуме Русского психоаналитического общества, неоднократно защищал Детский дом от попыток закрыть его, то установился взгляд о моей ответственности перед Наркомпросом и партией за работу Детского дома-лаборатории.

Эта работа развивалась очень интересно, научные результаты ее напечатаны за границей и возбудили чрезвычайное внимание со стороны Фрейда и его последователей, а также в мировых кругах врачей и педагогов.

С повышением возраста детей, однако, остро сказался недостаток психоаналитически подготовленных педагогов-руководительниц. Не желая продолжать с недостаточными средствами опыт, на который смотрят психоаналитики всех стран, мы решили от руководства домом отказаться вплоть до подготовки кадра педагогов.

Главнаука, как Вы знаете, с этим согласилась и решила использовать хорошо поставленный Детский дом как лабораторию не только для психоанализа, но и для всех научно-педагогических учреждений.

Психоаналитики фактически не имеют больше никакого влияния на Детский дом.

Я желаю Главнауке всякого успеха в разностороннем использовании нашего наследия, но считаю долгом довести до сведения дорогих товарищей, которым я адресую это письмо, что впредь я не буду иметь

никакого отношения к этому Дому и за его работу ни прямо, ни косвенно никакой, даже моральной ответственности не несу» [87].

На этом письме, датированном 20 ноября 1924 года, две резолюции: «В научный отдел к сведению. 28.11. Петров» и «Дано к делу 24.06.25». Таким образом, письмо Шмидта было использовано впоследствии и при закрытии Психоаналитического института. Но в самом тексте не содержится критики в адрес института или его руководства, нет и тени осуждения психоанализа и чувствуется лишь иронически маскируемая обида на «дорогих товарищей», адресатов письма. Что же вынудило Шмидтов сложить с себя ответственность за Детский дом? Во всяком случае, не идеологические проблемы: как видно из всего, что мы знаем, идейный статус психоанализа к 1925 году был еще благополучен.

Жан Марти упоминает об известных ему слухах, которые ходили вокруг Детского дома: на детях там ставят опыты и преждевременно стимулируют их половое созревание [88]. О подобных же слухах о сексуальных опытах с детьми вспоминает и дочь Ивана Ермакова; по ее словам, эти слухи доставляли ее отцу много хлопот [89]; писала о них и Вера Шмидт. Весьма вероятно, что именно такие сплетни, наверняка вымышленные, и служили настоящей причиной бесконечных комиссий. Очередная комиссия, заседавшая 2 января 1925 года (Петров, Пинкевич, новая заведующая Детским домом Жукова, представители родителей), эти сплетни фактически подтвердила. В ней среди прочего говорится: «Сексуальные проявления, онанизм наблюдаются у большинства детей, живущих в Детском доме. У детей, только что вступивших в Детский дом из семей, [онанизм] не наблюдался» [90].

Это уже скандал, особенно если помнить о персональном составе родителей. 24 февраля Пинкевич накладывает очередную резолюцию: Детский дом окончательно отделить от Психоаналитического института и перевести в Главсоцвос; сам же институт может быть оставлен в Москве «только в случае его присоединения куда-нибудь (например, к Психологическому институту)». Потом откуда-то возникла идея перевести Институт в Ленинград. Не рикошетом ли отозвалась здесь все та же идея «осуществить синтез фрейдизма и марксизма при помощи учения об условных рефлексах» (Павлов был в Ленинграде)? Ермаков пишет докладные записки, что Психоаналитический институт схож с Психологическим только по названию; что Психоаналитический институт единственный в своем роде не только в СССР, но и в Европе, и потому должен обязательно быть в столице; и что все сотрудники его живут в Москве и потому перевод его в Ленинград будет равносилен его закрытию... [91]. Но теперь возражения были напрасны.

В январе 1925 года Президиум Наркомпроса под председательством Луначарского принимает курьезное решение «Против вывоза Института по изучению природы засушливых пустынных областей в Ленинград и Психоаналитического института за пределы Москвы — не возражать». И еще

отдельно — «О тов. Шмидте. Считать необходимым использовать т. Шмидта полностью на работе в Наркомпросе...» [92].

14 августа 1925 года большой Наркомпрос под председательством наркома здравоохранения Н. А. Семашко по докладу Пинкевича принимает следующую резолюцию: «Психоаналитический институт и лабораторию «“Международная солидарность” — ликвидировать» [93].

Конец

Сохранился «План работ» института на последний сезон его функционирования, с сентября 1924 по июль 1925 года [94]. Ежедневно в Институте читались лекционные курсы, 2 раза в месяц проходили заседания Российского психоаналитического общества и еще 2 раза в месяц — заседания его Педагогической секции. Ермаков совмещал свои клинические занятия с лекциями по психоанализу литературного творчества и еще с исследованиями гипноза, которым он в это время много занимался. Кроме того, вместе с В. Ф. Шмидт он собирается отчитаться за работу закрытого уже к этому времени Детского дома. Р. А. Авербух продолжает свои начатые еще в Казани опыты с психоанализом творчества Василия Розанова; Б. Д. Фридман готовит работу по психоанализу идеализма (на примере тургеневского Рудина). Новым лицом является только политэмигрант из Германии Вильгельм Рор, читавший на немецком языке лекции по «Психоанализу коллективного мышления.

В ноябре 1924 года в Обществе состоялись перевыборы: новым президентом был избран Моисей Вульф, действительно бывший самым авторитетным кандидатом, близким к Фрейду и много сделавшим для психоанализа в России. Вице-президентами стали Ермаков и дипломат Виктор Копп — деятель троцкистской оппозиции. Лурия был секретарем, Каннабих членом бюро [95].

На X Конгрессе Международной психоаналитической ассоциации в Инсбруке в 1927 году ее президент М. Эйтингон говорил в отчетном докладе: «В России, одной из тех стран, которые раньше других заинтересовались анализом, увеличился круг людей, которые действительно занимаются этим предметом. Все мы понимаем, что наши коллеги там работают в очень трудных условиях, и я бы хотел от имени всех нас выразить к ним нашу глубокую симпатию» [96]. Членские взносы (2 доллара с человека в год) в России, добавлял Эйтингон, собраны, но нами еще не получены из-за практических трудностей. Однако Фрейд, лучше разбиравшийся в ситуации или, скорее, в отличие от Эйтингона не имевший причин лицемерить (см. гл. 7), писал давно уже эмигрировавшему Осипову 23 февраля 1927 года: «У аналитиков в Советской России, без сомнения, настают плохие времена. Откуда-то большевики взяли, что психоанализ враждебен их системе. Вы знаете правду — наша наука не может быть поставлена на службу никакой партии, хотя для своего развития она нуждается в определенной степени свободомыслия» [97].

Работа советских психоаналитиков продолжалась не очень активно, но непрерывно вплоть до начала 30-х годов. Ее центром была Москва; что-то происходило в Ленинграде, Одессе, Харькове, Ростове. Около 1930 года одесский психиатр и переводчик Фрейда Я. М. Коган завел в своем кабинете двойной портрет: на одной стороне его был Павлов, на другой — Фрейд [98]. Днем доктор Коган смотрел больных и общался с начальством под портретом Павлова; потом переворачивал его и вечером мог консультировать своих тайных аналитических пациентов под портретом Фрейда... Ленинградский доктор И. А. Перепель на собственные средства выпустил несколько психоаналитических книжек; последняя, вышедшая в 1928 году, содержит очень доброжелательное к автору и его методу предисловие выдающегося физиолога А. А. Ухтомского [99].

Психоаналитики честно пытались быть полезными. Вульф, в частности, занимался любопытным прикладным исследованием, результаты которого, правда, вышли в свет уже после его эмиграции [100]. На материале массового обследования московских водителей автобусов и трамвайных вагоновожатых были получены данные о распространении у этой категории трудящихся сексуальных нарушений, преимущественно снижения потенции. Более глубокий анализ показал, что во время езды многие водители испытывают половое возбуждение, а во время коитуса, наоборот, вспоминают свое место за рулем. Вульф предлагает этим странным явлениям психодинамическое объяснение, которое, правда, вряд ли могло быть использовано на благо пролетариата. О подобных изысканиях среди типографских рабочих знал Б. Пильняк, упоминающий в своем романе «Созревание плодов» «свинцовое изменение психики, теорию, выдвигаемую некоторыми московскими психоаналитиками» [101].

Русское психоаналитическое общество продолжало работать, проводя, судя по его отчетам Международной ассоциации, в 1925–1927 годах по 15–20 заседаний в год. В 1926 году в нем проходят, в частности, слушания по проблемам педологии, новой науки, развивающейся в его недрах, чтобы в полном соответствии с законами психоанализа уничтожить своего отца. В апреле 1927 года с поста секретаря Общества уходит Лурия. Его ждало большое будущее в науке, в 60-х годах он станет одним из крупнейших нейропсихологов мира... В конце же 20-х он, судя по его неопубликованным воспоминаниям, ищет себя в прикладных областях. В частности, по прямому заказу Вышинского он конструирует примитивный детектор лжи, работающий в ассоциативном эксперименте с пневмодатчиками, замерявшими тремор пальцев руки (очевидна преемственность самой идеи его детектора с ассоциативными экспериментами молодого Юнга). В Обществе его заменяет Вера Шмидт, в сентябре 1927 года поехавшая с докладом на очередной Конгресс психоаналитиков в Инсбрук.

3 ноября 1927 года в командировку в Берлин уезжает Вульф, оставивший исполнять свои обязанности Каннабиха... Из Берлина Вульф не вернулся. В своей президентской речи на XI Конгрессе в Оксфорде (1928 г.) Эйтингон рассказывал об этом так: «В связи с теми обстоятельствами, в

которых ведет свою работу Русское общество, невозможно, конечно, влиять на ситуацию в России, особенно после того, как его высокоценимый лидер, в течение многих лет возглавлявший Общество, уехал жить в другое место. Наши коллеги в Московском обществе, вместе с отдельными членами в Киеве и Одессе, продолжают со смелостью, которая вызывает наше восхищение, борьбу за сохранение и упрочение того, чего они достигли» [102].

До 1933 года Вульф работал в Германии, много публикуя в журналах Международной Ассоциации психоанализа. После прихода нацистов к власти он снова эмигрирует, на этот раз в Палестину, где вместе с Эйтингоном организует местное общество психоанализа. После смерти Эйтингона Вульф становится президентом Палестинского общества и остается им в течение 10 лет. Во многом повторяя на новой родине то, что он сделал в России, он организовал, в частности, серию переводов Фрейда на иврит. Вульф прожил долгую жизнь, умерев в 1971 году.

Его эмиграция из России совпала по времени с самоубийством коллеги (как восемью годами ранее эмиграция Осипова). Кончает с собой Адольф Абрамович Иоффе, бывший пациент Адлера и автор журнала «Психотерапия», друг и соратник Троцкого. Это было время полного «идейного и организационного разгрома» троцкистской оппозиции.

Деятельность Русского Общества угасала. Правда, еще в 30-м году оно проводит несколько заседаний, одно из которых было посвящено «плану работы на 1931 год». Позднее другой эмигрант, ленинградец Илья Перепель писал в американском журнале: «Психоаналитическое движение сходило на нет и около 1930 года застыло. Начиная с этого момента, оно официально перестало существовать» [103].

В 1936 году доктор Ф. Лерман, приехавший в Москву из Нью-Йорка, встретился там с Верой Шмидт, которая рассказывала ему, что собрания психоаналитиков продолжаются и в них участвуют до 15 человек [104]. Еще двумя годами позже И. Перепель в своей статье рассказывал о «смертном приговоре» психоанализу, который якобы теперь вынес ему режим, и призывал коллег на Западе к вмешательству [105]. В целом эти и некоторые другие подобные сообщения являются, скорее всего, легендами. Медицинская практика психоаналитиков продолжалась тайными и, скорее всего, бесплатными усилиями немногих оставшихся одиночек. Примером может быть обследование М. Зощенко, проведенное в 1937 году ленинградским врачом И. Марголисом. Ужасная судьба Сабины Шпильрейн является лучшей иллюстрацией того, как воспринимались эти усилия в нечеловеческих условиях 30-х годов. Любая же систематическая и, тем более, открытая активность вроде собраний психоаналитического кружка, несомненно, была опасна для всех причастных к ней лиц.

В 1948 году психиатр профессор А. С. Чистович был уволен из Военно-медицинской Академии в Ленинграде за то, что в своих лекциях по сновидениям использовал «кирпичики психоанализа» и не отрицал этого при разборе дела на партсобрании [106] А. И. Белкин, впрочем, рассказывает, что

в 1952 году он проходил психоанализ в Сибири; аналитиком был профессор И. С. Сумбаев [107].

Советские зэки обращались за духовным утешением к разным культурным сферам — одни к марксизму, другие к православию, иные даже к буддизму. Например, Евгений Гнедин (сын Парвуса, финансировавшего усилия Ленина в России 1917 года), рассказывал о том, как после чудовищных пыток, в камере-одиночке он пришел к новой вере, напоминающей буддизм и практику йоги [107].

Но советская лагерная история не знает, кажется, ничего подобного опыту Виктора Франкла, организовавшего в условиях нацистского концлагеря подпольную антисуицидную службу и выработавшего там свой вариант психоанализа, «логотерапию».

ЛИТЕРАТУРА И КОММЕНТАРИИ

1. К. Цеткин о Ленине. Москва, 1955, с. 44.
2. *Ермолинский С.* Из записок разных лет. Москва: Искусство, 1990, с. 38.
3. *Мандельштам Н.* Вторая книга. Москва, 1990, с. 67.
4. *Воронский А.* Фрейдизм и искусство. — «Красная новь», 1925, кн. 7, с. 260.
5. *Степун Ф.* Мысли о России. Современные записки, 1924, т. 19, с. 324.
6. *Чуковский К.* Дневник. 1901–1929. Москва: Советский писатель, 1991, с. 275–277, Чуковский, работавший в одной из редакций Госиздата, скорее всего, читал рукопись «По ту сторону принципа удовольствия», которая вышла в 1925 году.
7. *Выготский Л. С.*, *Лурия А. Р.* Предисловие к русскому переводу «По ту сторону принципа удовольствия». — В кн.: *Фрейд З.* Психология бессознательного. Москва: Просвещение, 1989, с. 29.
8. Psychoanalysis in Russia. — «International Journal of Psycho-analysis», v. 3, 1922, p. 513–520.
9. *Белая Г.* Дон-Кихоты 20-х годов. Москва: Советский писатель, 1989.
10. *Мандельштам О.* Слово и культура. Москва: Советский писатель, 1987, с. 200. 11. Цит. по: Г. Белая. Дон-Кихоты 20-х годов, с. 124–125.
12. Там же.
13. Там же.
14. «Как мы пишем». Ленинград: издательство писателей, 1930, с. 437.
15. *Замятин Е.* Сочинения. Москва: Книга, 1988, с. 575; фрагмент опубликован Е. Барабановым.
16. *Иванов Вс.* Возвращение Будды. Чудесные похождения портного Фокина. У. Москва: Правда, 1991, с. 150–152.
17. Там же, с. 187, 423, 386, 302.
18. *Замятин Е.* Сочинения, с. 437.
19. *Платонов А.* Счастливая Москва. «Новый мир», 9, 1991, с. 21,40.
20. Nietzsche in Russia. Princeton: University Press, 1986.
21. *Apfelbaum E.* Origines de la psychologie sociale en France. — «Revue franзaise de psychologie». 22, 1981, p. 397–408.
22. Дискуссию вокруг статьи Коллонтай см.: *Коллонтай А.* Дорогу крылатому эросу. — «Молодая гвардия», 1923, 3; *Виноградская П.* Вопросы морали, пола, быта и тов. Коллонтай. — «Красная новь», 1923, кн. 6, с. 179–214; *Луначарский А*. Мораль и свобода. — «Красная новь», 1923, 7, с. 134.

23. Питирим Сорокин. Бойня: революция 1917 года. — В его кн.: Человек. Цивилизация. Общество. Москва: Политиздат, 1992, с. 236. 24. *Гинзбург Л.* Литература в поисках реальности. Москва: Советский писатель, 1987, с. 156.
25. *Мандельштам О.* Слово и культура, с. 200.
26. См. сводное исследование: *Fitzpatrick S.* Sex and Revolution: An Examination of Uterary and Statistical Data... — «Journal of Modern History», 50, 1978, p. 253–278.
27. *Гинзбург Л.* Литература в поисках реальности, с. 158.
28. Psychoanalysis in Russia.
29. *Розенталь Т. К.* Страдание и творчество Достоевского — «Вопросы изучения и воспитания личности», 1, 1919, Петроград, с. 88–107.
30. *Грифцов Б. А.*. Психология писателя. Москва: Художественная литература, 1988.
31. *Коган Я. М.*. Предисловие к кн.: Анна Фрейд. Введение в технику детского психоанализа. Одесса, 1927.
32. «International Journal of Psychoanalysis», v. l, 1920, p. 208.
33. *Лурия А. Р.* Пути развития советской психологии. По собственным воспоминаниям. Стенограмма доклада в Московском отделении Общества психологов 25 марта 1974 г. — Архив, хранящийся у Е. А. Лурии.
34. ЦГА РСФСР, фонд 2307, оп. 23, дело 13, л. 23.
35. ЦГА РСФСР, фонд 2307, оп. 2, дело 412, л. 1; в ЦГА хранится также Устав Русского психоаналитического общества, утвержденный 30 сентября 1922, и образец его печати: ЦГА РСФСР, фонд 2307, оп. 1, дело 294, л. 4–7.
36. И. И. Гливенко, Г. Г. Вейсберг, О. Ю. Шмидт, И. Д. Ермаков, М. В. Вульф, Ю. В. Каннабих, П. П. Блонский, А. А. Сидоров, А. Г. Габричевский, В. А. Невский, Н. Г. Успенский, С. Т. Шацкий, А. К. Воронский и д-р Белобородов (там же, л. 7).
37. *Иванова Л.* Воспоминания. Книга об отце. Подготовка текста Дж. Мальмстада. Париж: Atheneum, 1990, с. 81.
38. ЦГА РСФСР, фонд 298, оп. 1, дело 1, л. 135.
39. *Грэхэм Л.* Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. Москва: Политиздат, 1991.
40. *Давыдова М. И.* Иван Дмитриевич Ермаков. — «Психологический журнал», т. 10, 2, 1989, с. 156–159; *Давыдова М. И.* Незавершенный замысел. К истории издания трудов З. Фрейда в СССР — «Советская библиография», 1989. 3, 61–64. У дочери Ермакова, М. И. Давыдовой, находится его личный архив.
41. «О последнем выступлении механистов». Передовая. — «Под знаменем марксизма», 1929, 10–11, с. 12.
42. *Ермаков И. Д.* О белой горячке. «Психоневрологический вестник», 1917, январь, 1, с. 91.
43. См. о нем: *Малинин В. И., В. И. Фрадкин В. И., В. И. Шацкий В. И.*: Работа для будущего. Москва: Просвещение, 1989.
44. Там же, 91–99, с. 24.
45. См. *Лосев А. Ф.* Из ранних произведений. Москва: «Правда, 1990, с. 3.
46. *Блонский П. П.* Как я стал педологом и именно таким, каким стал. — «П. П. Блонский в его педагогических высказываниях». Собрал И. И. Руфим. Москва: Работник просвещения, 1928; опубликовано также в: *Блонский П. П.* Избранные педагогические и психологические сочинения, т. 1, Москва: Педагогика, 1979, с. 30–39.
47. *Блонский П. П.* Очерки детской сексуальности. — Избранные педагогические и психологические сочинения, т. 1, с. 202–277.
48. *Read C.* Culture and Power in Revolutionary Russia. London: MacmiUan, 1990, p. 135.
49. *Мандельштам Н.* Вторая книга, с. 51.
50. Цит. по: *Чудакова М.* Жизнеописание Михаила Булгакова. Москва: Книга, 1988, с. 242.
51. J. Marti. La psychanalyse en Russie et en Union Sovietique de 1909 a 1930. — «Critique», № 346, 1976.

52. *Лурия А. Р.* Пути развития советской психологии.
53. Там же.
54. «International Journal of Psychoanalysis», v. 4, 1923.
55. Ibid., p. 240–241.
56. О факте этой поездки известно из командировочных документов: ЦГА РСФСР, фонд 2307, оп. 9, дело 222, л. 19.
57. Цит. по: *Marti J.* La psychanalyse en Russie et en Union Sovietique, p. 220.
58. *Аствацатуров М. И.* Психотерапия и психоанализ. Ленинград, 1924, с. 54.
59. «International Journal of Psychoanalysis», v. 5, 1924, p. 258.
60. «International Journal of Psychoanalysis», v. 10, 1929, p. 562.
61. Несколько вариантов планов работы Государственного психоаналитического института хранятся в архиве И. Д. Ермакова.
62. «International Journal of Psychoanalysis», v. 5, 1924, p. 258.
63. *Schmidt V.* Education psychanalytique en Russie. — Temps modernes, mars 1969; Reich Speaks of Freud. Ed. by M. Higgins and C. Raphael. London: Condor, 1967. Анализ реакции психоаналитического сообщества на опыт Веры Шмидт см.: *Roudinesco E.* Histoire de la Psychoanalyse en France, v. 2, p. 55.
64. «Психоаналитический институт-лаборатория "Международная солидарность"» (документ не датирован; предположительно 1923 год) — Архив И. Д. Ермакова. Далее цитируется как «Отчет Ермакова».
65. Хранятся в ЦГА РСФСР.
66. Отчет Ермакова.
67. Там же.
68. *Лурия А. Р.* Пути развития советской психологии; эти сведения Лурия подтвердил и в интервью М. Г. Ярошевскому. См.: *Ярошевский М. Г.* Возвращение Фрейда. — «Психологический журнал», т. 9, 6, 1988, с. 129–138.
69. Отчет Ермакова.
70. Psychoanalysis in Russia. — «International Journal ot Psychoanalysis», v. 3, 1922, p. 520.
71. *Marti J.* La psychanalyse en Russie et en Union Sovietique.
72. ЦГА РСФСР, фонд 298, оп. 45, дело 45, л. 50–52.
73. Там же.
74. ЦГА РСФСР, фонд 298, оп. 1, дело 1, л. 49.
75. *Шарапов Ю. П.* Из истории идеологической борьбы при переходе к НЭПу. Москва: Наука, 1990, с. 57.
76. ЦГА РСФСР, фонд 2306, оп. 1, дело 2101, л. 164.
77. ЦГА РСФСР, фонд 259, оп. 86, дело 81.
78. ЦГА РСФСР, фонд 298, оп. 1, дело 58, л. 109–110.
79. ЦГА РСФСР, фонд 2306, оп. 1, дело 2168, л. 75.
80. ЦГА РСФСР, фонд 259, оп. 9а, дело 3, л. 159.
81. ЦГА РСФСР, фонд 2307, оп. 9, дело 222, л. 19.
82. Цит. по: *Marti J.* La psychanalyse en Russie et en Union Sovietique.
83. ЦГА РСФСР, фонд 2307, оп. 9, дело 222, л. 36–37.
84. Там же, л. 39.
85. *Трауготт Н. Н.* Личное сообщение.
86. ЦГА РСФСР, фонд 2307. оп. 9, дело 222, л. 66 и 67.
87. Там же, л. 82.
88. *Marti J.* La psychanalyse en Russie et en Union Sovietique. 89, М. И. Давыдова. Личное сообщение.
90. ЦГА РСФСР, фонд 2307, оп. 9. дело 222, л. 60.
91. Там же, л. 76.
92. ЦГА РСФСР, фонд 298, оп. 1. дело 58, л. 110.
93. ЦГА РСФСР, фонд 259. оп. 9а, дело 3, л. 159.

94. В архиве И. Д. Ермакова.
95. «International Journal of Psychoanalysis», v. 6, 1929, p. 245.
96. «International Journal of Psychoanalysis», v. 9, 1928, p. 143.
97. Цит, по: *Miller M*. Freudian Theory under Bolshevic Rule. — «Slavic Review», winter 1985.
98. *Херсонский Б.* Предисловие к кн.: *Фрейд З.* Толкование сновидений. Перевод Я. М. Когана. Одесса, 1991.
99. *Перепель И. А.* Психоанализ и физиологическая теория поведения. С предисловием А. А. Ухтомского. Издание автора. Ленинград, 1928, с. 132.
100. *Вульф М. В.* По поводу некоторых психо-патологических явлений у автобусных шоферов. — «Психогигиенические и неврологические исследования». Москва, 1928, 194–200.
101. *Пильняк Б.* Расплеснутое время. Москва: Советский писатель, 1990, 144.
102. «International Journal of Psychoanalysis», v. 10, 1929, p. 515.
103. *Perepel E.* The Psychoanalytic Movement in Russia. — «Psycho-analytic Review», 26, 1939, p. 299.
104. *Rico J. L.* Russian Stereotypes in the Freud-Jung Correspondence. — «Slavic Review», v. 41, l. Spring 1982, p. 34.
105. *Perepel E.* The Psychoanalytic Movement in Russia.
106. Личные сообщения Н. Н. Трауготт и Л. А. Чистович.
107. *Белкин А. И.* Зигмунд Фрейд: возрождение в СССР? — В кн.: З. Фрейд. Избранное. Москва: Внешторгиздат, 1989, *с.* 19–20.

Эткинд А. М. Эрос невозможного.
История психоанализа в России.
М., 1993, с. 213–260.

На перекрестке путей к изучению психики человека

А. Г. Асмолов

Если бросить взгляд на историю становления представления о бессознательном, то мы увидим, что все аспекты проявлений бессознательного сводятся к четырем следующим проблемам:

а) передачи опыта из поколения в поколение и функции этого опыта в социально-типическом поведении личности как члена той или иной общности;

б) мотивационной детерминации поведения личности;

в) непроизвольной регуляции высших форм поведения и автоматизации различных видов деятельности субъекта;

г) поиска диапазона чувствительности органов чувств. На основании анализа этих проблем можно выделить четыре особых класса проявлений бессознательного:

а) надындивидуальные надсознатедьные явления;

б) неосознаваемые побудители поведения личности (неосознаваемые мотивы и смысловые установки);

в) неосознаваемые регуляторы способов выполнения деятельности (операциональные установки и стереотипы);

г) неосознаваемые резервы органов чувств (подпороговые субсенсорные раздражители).

Далее выделим направления, в которых шло исследование этих классов неосознаваемых явлений, дадим краткое описание основных особенностей каждого класса и покажем, как в каждом из этих классов проявляется основная черта бессознательного — слитность субъекта и мира в неосознаваемом психическом отражении.

I. НАДЫНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАДСОЗНАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Начнем с описания надындивидуальных подсознательных явлений, поскольку, во-первых, эти явления всегда были таинственны и служили почвой для мифологических построений; во-вторых, именно на примере этих явлений наиболее рельефно открывается генезис сферы бессознательного в целом.

Реальный факт существования класса надсознательных надындивидуальных явлений предстает в разных ипостасях во всех направлениях, затрагивающих проблему передачи опыта человечества из поколения в поколение или пересекающуюся с ней проблему дискретности — непрерывности сознания.

Для решения этой фундаментальной проблемы привлекались такие понятия, как «врожденные идеи» (Р. Декарт), «архетипы коллективного бессознательного» (К. Юнг), «космическое бессознательное» (Судзуки),

«космическое сознание (Э. Фромм), «бессознательное как речь Другого» (Ж. Лакан), «коллективные представления» (Э. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль) и «бессознательные структуры» (К. Леви-Стросс, М. Фуко).

Иной ход для решения этой проблемы предлагается в исследованиях В. И. Вернадского. Если все указанные авторы в качестве точки отсчета избирают отдельного индивида, то В. И. Вернадский видит источник появления нового пласта реальности в коллективной бессознательной работе человечества. Он называет этот пласт реальности ноосферой. Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера переходит в новое состояние — в ноосферу, отмечает В. И. Вернадский.

Вопросы о природе надындивидуальных надсознательных явлений остаются открытыми. Как проникнуть в эти надындивидуальные бессознательные структуры? Каково их происхождение? В большинстве случаев ответ на эти вопросы близок к их сказочному решению в «Синей птице» Мориса Метерлинка. В этой волшебной сказке добрая фея дарит детям чудодейственный алмаз. Стоит лишь повернуть этот алмаз, и люди начинают видеть скрытые души вещей. Как и в любой настоящей сказке, здесь есть большая правда. Окружающие людей предметы человеческой культуры действительно имеют душу. Эта душа- поле значений, существующих в форме схем действия, ролей, понятий, ритуалов, церемоний, различных социальных символов, норм, социальных образцов поведения. Надсознательные явления представляют собой усвоенные субъектом образцы типичного для данной общности поведения и познания, влияние которых актуально, не осознается субъектом и не контролируется им. Эти образцы (например, этнические стереотипы), усваиваясь через механизмы социализации (подражание и идентификация), определяют особенности поведения субъекта именно как представителя данной социальной общности, то есть социально-типические особенности поведения, в проявлении которых субъект и группа выступают как одно неразрывное целое.

Таким образом, идеи о потоке сознания, об архетипах коллективного бессознательного и т.п. имеют вполне земную основу. За всеми этими представлениями стоит реальный факт существования надындивидуального надсознательного, имеющего четко прослеживаемый социальный генезис.

II. НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ ПОБУДИТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ МОТИВЫ И СМЫСЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ЛИЧНОСТИ)

Неосознаваемые побудители деятельности личности всегда были центральным предметом исследования в традиционном психоанализе. Они принимают участие в регуляции деятельности, выступая в виде смысловых установок. Не пересказывая здесь представлений об иерархической природе установок как механизмов стабилизации, «цементирования» деятельности личности, напомним, что в соответствии со структурными единицами

деятельности (деятельность, действие, операция) выделяются уровни смысловых, целевых и операционных установок, а также уровень психофизических механизмов установки (Асмолов, 1979). Общая функция установок любого уровня характеризуется тремя следующими моментами:

а) установка определяет устойчивый целенаправленный характер протекания деятельности и выступает как механизм стабилизации деятельности личности, позволяющий сохранить ее направленность в непрерывно изменяющихся ситуациях;

б) установка освобождает субъекта от необходимости принимать решения и произвольно контролировать протекание деятельности в стандартных, ранее встречавшихся ситуациях;

в) фиксированная установка может выступать в качестве фактора, обусловливающего инерционность, косность, затрудняющего приспособление к новым ситуациям.

Таковы основные особенности функции установок любого уровня в регуляции деятельности. Что же касается специфических проявлений смысловых, целевых и операционных установок, то они определяются тем, какое содержание — личностный смысл или значение — выражает установка в деятельности субъекта . И здесь еще раз хочется выделить одно положение, без которого мы будем постоянно путаться при рассмотрении в одной связке категорий «установка» и «бессознательное», «установка» и «сознание», «установка» и «деятельность». Для более явного выявления связи между этими категориями необходимо помнить введенное в лингвистике различение: план содержания и план выражения. Установка как готовность к реагированию есть своего рода носитель, форма выражения того или иного содержания в деятельности субъекта. Если фактор, приводящий к актуализации установки, осознается субъектом, то установка, соответственно, выражает в деятельности это осознаваемое содержание. В тех случаях, когда какой-либо объективный фактор деятельности, например мотив, не осознается, то актуализируемая им смысловая установка выражает в деятельности неосознаваемое содержание, в случае смысловой установки-вытесняемый субъектом личностный смысл происходящих событий.

Итак, ко второму классу проявлений бессознательного относятся неосознаваемые мотивы и смысловые установки — побуждения и нереализованные предрасположенности к действиям, детерминируемые тем желаемым будущим, ради которого осуществляется деятельность и в свете которого различные поступки и события приобретают личностный смысл. О существовании этого класса явлений стало известно благодаря исследованиям отсроченного постгипнотического внушения, приводящего к выполнению действия, импульс которого не известен самому совершившему это действие после выхода из гипнотического состояния человеку. Подобные явления в психопатологии описывались как раздвоение сознания, симптомы отчуждения частей собственного тела, выполняемых в сомнамбулическом состоянии действий при истерии, определяемые «отщепленными» от сознания личности побуждениями. Эти явления были обозначены термином

«подсознательное» (П. Жане). Впоследствии для объяснения природы этих явлений, а затем и для понимания разноуровневых мотивационных структур личности в целом основателем психоанализа З. Фрейдом было введено понятие бессознательное в узком смысле слова — «динамическое вытесненное бессознательное». Под бессознательным понимались нереализованные влечения, которые из-за их конфликта с социальными запросами общества не допускались в сознание или изгонялись, отчуждались из него с помощью такого защитного механизма психики как вытеснение. Вытесненные из сознания личности, влечения образуют сферу бессознательного — аффективные комплексы, активно воздействующие на жизнь личности и проявляющиеся порой в непрямых символических формах (юморе, сновидениях, забывании имен и намерений, обмолвках и т.п.). Существенная черта динамических проявлений бессознательного состоит в том, что осознание личностью причинной связи нереализованных влечений с приведшими к их возникновению в прошлом травматическими событиями не всегда приводит к исчезновению переживаний, обусловленных этими влечениями (например, страхов), так как узнанное субъектом воспринимается им как нечто безличное, чуждое, происходящее «не с ним». Эффекты бессознательного в поведении устраняются только в том случае, если вызвавшие их события переживаются личностью совместно с другим человеком (например, в психоаналитическом сеансе) или с другими людьми (групповая психиатрия), а не только узнаются ею. Особо важное значение для понимания этого класса проявлений бессознательного и приемов его перестройки имеют феномены установления эмоциональной интеграции, психологического слияния взаимодействующих людей в одно целое. К этим феноменам относятся эмпатия, первичная идентификация (неосознанное эмоциональное отождествление с притягательным объектом, например, младенца с матерью), трансфер (возникающий в психоаналитическом сеансе перенос нереализованных стремлений пациента на психоаналитика, обеспечивающий их эмоциональное единение, некритическое принятие ими друг друга), проекция (неосознанное наделение другого человека присущими данной личности желаемыми или нежелаемыми свойствами).

Личностные смыслы, «значения-для-меня» тех или иных событий мира составляет сердцевину описываемого класса неосознаваемых мотивов и смысловых установок.

Явления этого класса не могут быть преобразованы под влиянием тех или иных односторонних вербальных воздействий. Это положение, основанное на целом ряде фактов, подводит нас к специфике смысловых образований, определяющей методические пути их исследования. Эта особенность состоит в том, что изменение смысловых образований всегда опосредствовано изменением самой деятельности субъекта. Учет этой особенности личностных смыслов и смысловых установок позволяет пролить свет на метаморфозы в развитии психоанализа, объяснение которых выступает как своего рода проверка предлагаемой нами классификации.

Во-первых, неэффективность психотерапии, ограничивающейся чисто вербальными односторонними воздействиями, то есть той терапии, которую столь ядовито высмеял еще З. Фрейд в своей работе «О “диком” психоанализе» (1923), как раз и объясняется тем, что по самой своей природе смысловые образования нечувствительны к вербальным воздействиям, несущим чисто информативную нагрузку. Не случайно поэтому Жак Лакан, выдвинувший лозунг «Назад к Фрейду», перекликается в этом пункте с основоположником психоанализа, замечая: «Функция языка заключается не в информации, а в побуждении. Именно ответа Другого я ищу в речи. Именно мой вопрос констатирует меня как субъекта» (Ж. Лакан). Иными словами, только общение, выражающее смыслообразующие мотивы и служащее основой для эмоциональной идентификации с Другим, может изменить личностные смыслы пациента.

Во-вторых, в неэффективности влияния указанного типа вербальных воздействий на сферу смыслов — воздействий, которыми часто подменяется диалог между психоаналитиком и пациентом, следует искать причину явно наметившегося сдвига от индивидуальных к групповым методам психотерапии, как, например, психодрама, Т-группы и т.п., в которых реконструрируются личностные смыслы и смысловые установки.

Подытоживая представления о природе неосознаваемых побудителей деятельности, перечислим основные особенности динамических смысловых систем личности:

1) производность от деятельности субъекта и его социальных позиций;

2) интенциональность (ориентированность на предмет или объект: смысл всегда кому-то или чему-то адресован, смысл всегда есть смысл чего-то);

3) независимость от осознания (личностный смысл может быть осознай субъектом, но самого по себе осознания недостаточно для изменения личностного смысла);

4) невозможность воплощения в значениях (Л. С. Выготский, М. М. Бахтин) и неформализуемость;

5) феноменально смысловые образования проявляются в виде кажущихся случайными, немотивированными «отклонений» поведения от нормативного для данной ситуации (например, обмолвки, лишние движения и т.п. (Асмолов, 1979).

III. НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ СПОСОБОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И СТЕРЕОТИПЫ)

В основе регуляции непроизвольных и автоматизированных (актуально неконтролируемых) способов выполнения операций лежат неосознаваемые операциональные установки и стереотипы. Они возникают в процессе решения различных задач (перцептивных, мнемических, моторных, мыслительных) и детерминируются неосознанно предвосхищаемым образом

событий и способов действий, опирающимся на прошлый опыт поведения в подобных ситуациях. Динамика возникновения этих актуально-неосознаваемых форм психического отражения красочно описывалась в психологии сознания как переход содержаний сознания из фокуса сознания на его периферию (В. Вундт). Для обозначения различных стадий этих проявлений бессознательного в регуляции деятельности привлекались два круга терминов, фиксирующих либо неосознаваемую подготовку субъекта к действию, с опорой на прошлый опыт — «бессознательные умозаключения» (Г. Гельмгольц), «преперцепция» (В. Джемс), «предсознательное» (З. Фрейд), «гипотеза» (Дж. Брунер), «вероятностное прогнозирование» (И. М. Фейгенберг) и т.п.; либо непроизвольный контроль уже развертывающейся активности субъекта — «динамический стереотип» (И. П. Павлов), «схема» (Ф. Т. Бартлетт), «акцептор действия» (П. К. Анохин), и т.п. Функция этих проявлений бессознательного в том, что субъект может одновременно перерабатывать информацию о действительности на нескольких различных уровнях и сразу совершать целый ряд актов поведения (запоминать и отыскивать решения задач, не ставя осознанных целей решать и запоминать; обходить препятствия, не утруждая себя отчетом об их существовании; «делать семь дел сразу» и т.п.).

Одна из первых попыток вывести общий закон, которому подчиняются неосознаваемые явления этого класса, принадлежит Клапареду. Он сформулировал закон осознания, суть которого в следующем: чем больше мы пользуемся тем или иным действием, тем меньше мы его осознаем. Но стоит на пути привычного действия появиться препятствию, как возникает потребность в осознании. Однако закон Клапареда описывает лишь феноменальную динамику этого класса явлений.

В генетическом аспекте изучение «предсознательного» было неразрывно связано с анализом проблемы развития произвольной регуляции высших форм поведения человека. «Произвольность в деятельности какой-либо функции является всегда оборотной стороной ее осознания», — писал один из идейных вдохновителей и родоначальников этого направления Л. С. Выготский. В свете изложенного выше понимания бессознательного как формы психического отражения, в которой субъект и мир представляют одно нераздельное целое, особенно очевидной становится необходимость жесткого увязывания Л. С. Выготским между собой произвольности и осознанности деятельности человека. Ведь произвольность всегда предполагает контроль со стороны субъекта за своим поведением при наличии намерения осуществить желаемый им акт поведения, подчинить то или иное поведение, например, запоминание своей власти. Но для такого контроля как минимум необходимо бросить взгляд на свое собственное поведение со стороны, противопоставить себя окружающей действительности. Там, где нет произвольного контроля, нет противопоставления себя миру, а тем самым нет осознания.

В функциональном плане изучение неосознаваемых регуляторов деятельности вписывается в проблему автоматизации различных видов

внешней и внутренней деятельности. В основе осознания, таким образом, лежит изменение места предметного содержания в структуре деятельности, являющееся следствием процесса автоматизации — деавтоматизации деятельности. Это положение отличается от представлений о динамике осознания в интроспективной психологии сознания. Если интроспективный психолог ищет причину изменения состояний сознания внутри самого сознания, то для представителей деятельного подхода к «физиологии активности» ключ к изменению состояний сознания — в самом движении деятельности, ее развитии, ее автоматизации и дезавтоматизации. В ходе процесса автоматизации происходит стирание грани между субъектом и объектом, растворение субъекта в деятельности. Н. А. Бернштейн приводит яркий пример такого слияния субъекта с миром, происходящего в процессе автоматизации деятельности, обращаясь к фрагменту из произведения Л. Н. Толстого «Анна Каренина»: «Чем далее Левин косил, тем чаще и чаще чувствовал он минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой...полное жизни тело, и как бы по волшебству, без мысли о ней, работа, правильная и отчетливая, делалась сама собой».

В основе функционирования автоматизированных форм поведения лежат операциональные установки и стереотипы. Проведенные с позиции представлений об уровневой природе установки как механизма стабилизации деятельности исследования позволили экспериментально выявить две существенно отличающиеся неосознаваемые формы регуляции автоматизированного поведения. Так, было показано, что традиционно изучавшиеся классическим методом фиксации установки Д. Н. Узнадзе относятся к установкам на целевой признак, (то есть признак сравниваемых установочных объектов, который с самого начала осознается субъектом). Установки на целевой признак лежат в основе «сознательных операций» (А .Н. Леонтьев), которые возникли вследствие автоматизации действия. Такого рода сознательные операции возникают в ходе неоднократных повторений действия, например, при обучении вождению автомобиля или письму. Содержание цели действия, вначале осознаваемое субъектом, занимает в строении другого более сложного действия место условия его выполнения. Вследствие изменения места цели в структуре деятельности, сдвига цели на условие, происшедшего при автоматизации действия, данное действие превращается в сознательную операцию. По своему происхождению сознательные операции появляются вследствие автоматизации действий; по способу регуляции сознательные операции — потенциально произвольно контролируемые; по уровню отражения — вторично неосознаваемые (при появлении затруднений в ходе их осуществления они могут сознаваться); по динамике протекания — гибки, лабильны. Таковы черты сознательных операций. Установки на целевой признак, (в терминологии Д. Н. Узнадзе) исходно принадлежат плану объективации. Иными словами, основной массив экспериментальных исследований школы Д. Н. Узнадзе посвящен изучению особенностей именно этих лишь вторично неосознаваемых установок на целевой признак.

От вторично неосознаваемых установок на целевой признак принципиально отличаются операциональные установки на неосознаваемый признак (иногда говорят «иррелевантный признак»). Эти установки регулируют приспособительные операции. Приспособительные операции относятся к реактивному иерархически самому низкому уровню реагирования в структуре деятельности субъекта . Они возникают в процессе непроизвольного подражания или прилаживания, подгонки к предметным условиям ситуации. Приспособительные операции характеризуются тремя следующими свойствами: по способу регуляции Приспособительные операции — непроизвольны; по уровню отражения — изначально не-осознаваемы; по динамике протекания — косны, ригидны. В экспериментальном исследовании М. Б. Михалевской было выявлено, что установки, выработанные на побочный неосознаваемый признак, существенно отличаются от установок на целевой признак по выраженности иллюзии фиксированной установки. Оказалось, что установочный эффект, обусловленный установкой на неосознаваемый признак, гораздо сильнее и потому дольше сохраняется, чем эффект установки на целевой признак. Полученные данные представляют троякий интерес. Во-первых, четко выявлена зависимость основных свойств установки от места установочного признака в структуре деятельности. Во-вторых, показано, что за установками на целевой признак, изучаемыми в школе Д. Н. Узнадзе, стоит иная психологическая реальность, чем за установками на операциональный иррелевантный признак. Эти факты подтверждают положение о существовании разных установок по параметру степени осознанности того признака, на который они фиксируются, и переводят в плоскость экспериментальных исследований старую дискуссию о неосознаваемых и осознаваемых установках. В-третьих, в будущем выделенные установочные эффекты могут быть использованы в качестве лакмусовой бумажки того, с каким уровнем деятельности в экспериментах мы имеем дело — с действием, автоматизировавшимся в сознательную операцию, то есть с пластом активной регуляции в деятельности, или же с приспособительной операцией, выражающей пласт реактивной адаптации субъекта к действительности. «

IV. НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ РЕЗЕРВЫ ОРГАНОВ ЧУВСТВ

При анализе проблемы определения порогов ощущения, диапазона чувствительности человека к разным внешним раздражителям были обнаружены факты воздействия на поведение таких раздражителей, о которых он не мог дать отчета. (И. С. Сеченов, Г. Т. Фехнер). Для обозначения разных аспектов этих субъективно неосознаваемых подпороговых раздражителей предложены понятия «предвнимания» (У. Найссер) и «субсенсорная область» (Г.В. Гершуни). Процессы «предвнимания» связаны с переработкой информации за пределами про-извольно контролируемой деятельности, которая, непосредственно не затрагивая цели и задачи субъекта, снабжает его полным неизбирательным

отображением действительности, обеспечивая приспособительную реакцию на те или иные еще не распознанные изменения ситуации (например, так называемый феномен «шестого чувства» — что-то остановило, что-то заставило вздрогнуть и т.п.). Психофизиологической основой процессов предвнимания являются субсенсорные (подпороговые) раздражители. Изучение процессов предвнимания и субсенсорных раздражителей позволяет выявить резервные возможности органов чувств человека, зависящие от целей и смысла решаемых им задач. На примере анализа проявлений этого класса неосознаваемых психических процессов явно выступает адаптивная функция бессознательного.

* *
*

Развитие представлений о природе бессознательного, специфике его проявлений, механизмах и функциях в регуляции поведения человека является необходимым условием создания целостной объективной картины психической жизни личности.

При анализе сферы бессознательного мы приходим к тому, что три пути к изучению психики человека вовсе не представляют собой трех параллельных прямых, которым не суждено пересечься в пространстве научного мышления современной психологической науки. Благодаря взаимопроникновению подходов, связанных с исследованием бессознательного, деятельности и установки, каждый из них в буквальном смысле слова обретает свое второе дыхание. Деятельностный подход, если он и дальше будет настороженно относиться к богатейшей феноменологии бессознательного, окажется не в состоянии объяснить многие факты, касающиеся закономерностей развития и функционирования мотивационно-смысловой сферы личности, познавательных процессов, различных автоматизированных видов поведения. Ведь старый образ, олицетворяющий сознание с верхушкой айсберга в процессе психической регуляции деятельности, — это не только красивая метафора. Он наглядно отражает реальное соотношение осознаваемого и неосознаваемого уровней психики в регуляции деятельности, в жизни человека. Вот поэтому исследования познания, личности, динамики межличностных отношений, оставляющие за бортом неосознаваемый уровень регуляции деятельности, являются однобокими. В свою очередь, только выявив функциональное значение бессознательного и установки в процессе регуляции деятельности, мы сможем глубже проникнуть в природу этих проявлений психической реальности. Именно анализируя бессознательное и его функцию в деятельности человека, мы приходим к позитивной характеристике бессознательного как уровня психического отражения, в котором субъект и мир представлены как одно неразделимое целое. Установка же выступает как форма выражения в деятельности человека того или иного содержания — личностного смысла или значения, которое может быть как осознанным, так и неосознанным. Функция установки в регуляции деятельности — это

обеспечение целенаправленного и устойчивого характера протекания деятельности человека.

Анализ бессознательного позволяет, во-первых, наметить те проблемы и направления, в русле которых изучались явления выделенных нами классов (проблема передачи и усвоения опыта; проблема детерминации деятельности; проблемы произвольной регуляции высших форм поведения и автоматизации различных видов внешней и внутренней деятельности; проблема поиска диапазона чувствительности), во-вторых, выделить в пестром потоке этих явлений четыре качественно различных класса (надындивидуальные надсознательные явления, неосознаваемые мотивы и смысловые установки личности, неосознаваемые резервы органов чувств) и обозначить генезис и функцию явлений разных классов в деятельности субъекта. Необходимость содержательной характеристики бессознательного как формы психического, в которой субъект и мир представляют одно неразрывное целое, а также подобной классификации неосознаваемых явлений состоит в том, что часто встречающееся противопоставление всех трех разнородных явлений уживается с полной утратой их специфики, что очень затрудняет продвижение на пути их изучения. И только выявление общих черт и специфики этих утаенных планов психики позволит найти адекватные методы их исследования, раскрыть их функцию в регуляции деятельности, дополнить и изменить существующую картину представлений о сознании и личности.

Бессознательное. Многообразие видения,
Новочеркасск, Агентство Сагуна, 1994, с. 51–59

Анализ структур коллективного бессознательного современного российского общества применительно к институту президентской власти.

В.А.Медведев

Основой психоаналитического подхода к исследованию глубинных, лежащих под слоем сознательных рационализаций мотивов политической активности представителей современного нам российского общества является создание модели состояния их коллективного бессознательного, т.е. тех стандартных реакций, которые они стихийно воспроизводят (будучи прямо, либо через систему СМИ объединены в массу) в ответ на организованные системой властвования символические запросы.

Характерной и во многом определяющей все остальное особенностью подобного рода диагностической модели, построенной применительно к нынешней российской ментальности, является наличие четкого расслоения сферы мотивации деятельности людей на два конфликтующих между собой уровня. С одной стороны, сегодняшний россиянин воспроизводит те поведенческие и понятийные шаблоны, которые были привиты ему в детстве, в семье. С другой же стороны, он вынужденно приспосабливается к резко изменившейся реальности, диктующей зачастую прямо противоположные формы адаптационного, приспособительного поведения.

Налицо весьма болезненное расслоение психики, типичное для человека переходной эпохи, вынужденного ломать традиционные модели поведения и формы их личностного обоснования. Ценности и идеалы, нормы поведения и идеологические иллюзии отходящей эпохи не могут быть просто отброшены и заменены чем-то новым. Их появление в сфере глубинных мотиваций было далеко не случайным, они эмоционально нагружены опытом наших ранних детских переживаний, связаны с вхождением в этот мир через идентификацию с родителями, через уподобление им. Отказ от непосредственного воспроизведения данных поведенческих стереотипов, вынужденное их вытеснение в область личного бессознательного, куда человек обычно отбрасывает все неприемлемые для современной культуры мысли, побуждения и эмоции, порождает тяжелейший неврозогенный психологический конфликт. Сегодняшняя социально-психологическая ситуация предъявляет россиянину практически невыполнимое требование - отказаться от мира своего собственного детства, мира по-своему прекрасного, гармоничного и целостного, но всем своим содержанием (от детских сказок типа “Золотого ключика” до пионерской ритуалистики) альтернативного требованиям изменившейся культуры.

Последствиями такого принудительного предательства родительской культуры (или же, говоря психоаналитическими терминами, “греха отцеубийства”) на уровне личности выступают повышенная тревожность,

склонность к истерическим реакциям и паническим состояниям, а на общественном уровне - неустойчивость тенденций социальной динамики, непредсказуемость всплесков массовой деструктивности и податливость массового сознания различного рода маниакальным “измам”. Российское общество страдает социально-психологическми расстройством, описанным еще основоположником психоанализа Зигмундом Фрейдом - разрушена преемственность воспроизводства “Сверх-Я” культурного сообщества; т.е. запреты и нормы сложившегося нового общественного устройства, не пропущенные у данного поколения россиян через культуру детства, а напротив - альтернативные ей, теряют личностный характер и становятся чем-то навязываемым извне, чуждым и раздражающим.

Анализу современного состояния и динамики прогнозируемых изменений коллективного бессознательного российского общества, находящегося на столь критической стадии своего социально-психологического развития, описанию его трансформации под влиянием демократических процедур властвования и введения института президентства как раз и посвящена данная аналитическая записка.

1. Проблемы размывания имперского мифа и перспективы построения в России основ национально-ориентированной государственности.

Система политической (как, впрочем, и любой другой) власти с психоаналитической точки зрения представляет собой развертывание на базе конкретно-исторического типа общества принудительной регрессии населения, т.е. воспроизведения людьми в массе детского отношения к органам властвования как к родительской, прежде всего - отцовской, инстанции.

Дополнительные сложности в ходе развертывания в России рациональной модели политического властвования, т.е. использования спровоцированных стереотипов инфантильного поведения людей для поддержания стабильности социальной системы, возникают не только в силу того, что данные поведенческие стереотипы идеологически нагружены и не могут быть задействованы без угрозы вызвать стойкий массовый негативизм населения по отношению к самим институтам власти (в современной психологии это называется проекцией негативного Эдипова комплекса: ”Ты не имеешь права на властвование, ибо ты не истинный Отец, а его убийца”). Суть дела заключается в самой природе этой идеологической нагрузки, которую можно обозначить как имперский миф.

Поскольку в ходе дальнейшего изложения мне придется оперировать достаточно представительным набором форм социальной мифологии, уделяя особое внимание демократическому и национальному мифам, то следует, пожалуй, более подробно остановиться на природе этого феномена и его месте в структуре взаимосвязей “личность - общество - государство”. Исходной предпосылкой рассуждения о природе социальной мифологии является тот постулат психологической теории, что в основании любой навязчивой, т.е. не связанной с непосредственными жизненными интересами массовой деятельности людей лежит определенная тревожность, снимаемая

данной формой деятельности как искупительным ритуалом. Первичным источником любой тревожности выступает наше раннее детство, а поводом для ее воспроизведения в нашем взрослом поведении является система символики, предъявляемая нам окружающей культурой. Символ есть нечто, напоминающее нам о первичных, инфантильных переживаниях, а миф - это состояние аффективно окрашенного соответствия символики культуры и вытесненной памяти раннего детства, мира сказок и инфантильных фантазий. Тот вариант имперского мифа, в рамках которого осуществлялось в XX веке саморегулирование социальной системы в России на протяжении жизни не менее трех поколений (с конца 20-х годов вплоть до августа 1991 года) представляет собой довольно-таки типичное идеологическое образование, поддерживающее стабильность в обществах, в силу ряда обстоятельств не имевших возможности выдержать режим формирования собственной национальной государственности (по отношению к современной России данный режим будет проанализирован ниже). Данный тип социальной мифологии востребуется коллективным бессознательным общества в ситуации кризиса, возникающего в ходе построения национальной модели государственности и связанного со детским страхом одиночества, противопоставления себя через национальную идею всему остальному миру. Страх неизбежно порождает агрессивность, а бегство от пугающей отстраненности от других стран неизбежно приводит к идентификации с ними, к стремлению воссоединиться с ними в некую целостность. Таков социально-психологический исток всех форм имперской идеологии.

Во избежание терминологической путаницы, следует определить и само понятие идеологии, которая в рамках любого социального мифа выполняет функцию введения в область личных глубинных оснований человеческой активности мотива самосохранения режима властвования, чуждого отдельному человеку и вынуждающего его жить в условиях фрустрированности, т.е. запрета на непосредственное удовлетворение первичных потребностей. Делает это идеология путем формирования так называемого “образа Врага” и демонстрации набора защитных форм поведения, снимающих спровоцированную ею же тревожность.

Имперский миф характеризуется следующими особенностями:

а) В отличие от национального мифа, консолидирующего людей на основании общего прошлого, исторической традиции, он создается вокруг общего будущего, некоей футурологической модели, подлежащей реализации. Ориентация на временную перспективу порождает особую форму идеологии - миф о грядущем всеобщем счастье, требующий от отдельного человека терпения и жертвенности.

б) Имперский миф всегда глобален, пределы его территориальной и идеологической экспансии ограничиваются лишь рамками земного шара, а зачастую выходят и за его пределы (вспомним хотя бы весьма характерное и дорогостоящее соперничество двух великих имперских проектов XX века за право быть первыми на Луне). Глобальность притязаний имперского типа социального устройства определяет и особую сконцентрированность любых

форм личностно мотивированной активности на достижении общей цели. Обоснование подобной “одномерности” поведенческих проявлений отдельного человека называется имперской идеей, которая легко выводит его из-под влияния семейных, профессиональных, территориально-групповых и национальных ограничений.

в) Наличие имперского мифа (характерными, хоть зачастую и атавистическими признаками которого выступают глобусы и птичья символика в государственных гербах) демонстрирует нам текучесть, неустойчивость социума, неустоявшийся характер всех его институтов. Долгие годы, пожалуй даже - столетия, символика римских орлов и серпа и молота на фоне земного шара позволяла России экономить на всем “излишнем” типа собственной национальной идеи и собственной национальной государственности. Быть “русским” означало присоединиться к великому походу “из варяг в греки” и изначально среди дружинников Ольгерда, Игоря и Святослава, штурмовавших Царьград и взимавших дань с подвластного им оседлого населения, славян было ничтожное меньшинство. И даже много столетий спустя цвет русского народа (но отнюдь не нации!), его дворянство, строило свои генеалогии исключительно по принципу поиска того, на каком этапе истории их предок - литвин, татарин, шотландский наемник или же эфиопский пленник - примкнул к очередному российскому имперскому проекту.

г) Имперский миф вызревает в особого типа семейной среде, даже точнее сказать - вне семейной среды, в атмосфере демонстрируемой нелюбви (материнской депривации) и фрустрированности, т.е. отказа в удовлетворении первичных жизненных потребностей ребенка. Именно имперское общество породило такое калечащее психику человека, но крайне необходимое для воспроизведения требуемых от личности сверхкомпенсаторной активности и мазохистской жертвенности, социальное изобретение как детские ясли и детские сады. Подробный анализ символики детства человека имперской советской ментальности (сказок, игр, ритуалов детской и подростковой субкультуры), проведенный автором, позволяет выделить следующие характерные особенности культуры детства человека имперского типа:

* Установка на “неистинность отцов”. Культивирование ситуации искусственного сиротства порождает психическую неуравновешенность, сверхнапряжение постоянного стремления компенсировать данный пробел поиском идеального Родителя и максимальной жертвенностью при служении связанной с его именем имперской идее. Архетип сиротства, который в условиях функционирования национального мифа становится для ребенка средством идентификации, сращивания со своей национальной принадлежностью, восприятия ее в качестве условия личностности, у человека с имперским типом детства становится поводом уклониться от идентификаций на групповом и национальном уровнях.

* Негативный Эдипов комплекс. Стимулированная культурой детства невозможность самоотождествления себя с родителем своего пола приводит

человека имперской культуры к разрушению традиционной модели семьи и досуга, порождает серьезные проблемы в сексуальной сфере, но зато придает невиданный размах сублимационной активности. Для человека, выросшего в культуре имперского мифа психологически комфортными являются все альтернативные семье социальные образования (от трудовых и воинских коллективов до маргинальных и криминальных сообществ), поскольку негативно пережитая в детстве Эдипова ситуация порождает устойчивую тенденцию “бегства из семьи”, становящейся “ячейкой общества”, т.е. источником поддерживающей социальность тревожности.

* Чрезмерная доза прямого устрашения в культуре детства (начиная с знаменитого: ”...Придет серенький Волчок и ухватит за бочок, и утащит во лесок...”) и ориентация на агрессивность как средство снятия фобийности. Именно из данного источника вырастает типичное для имперской личности восприятие насилия как обыденной формы социального воздействия и нормы межличностной коммуникации. Поэтому, будучи объединены в массу (на митингах, демонстрациях, съездах и пр.), люди, выросшие под эгидой имперского мифа, востребуют ритуалы нагнетания агрессивности, направленной на созданный идеологией образ Врага, и устрашающие символы (типа серпа и молота, красного знамени, или же - бюста жертвенного агнца-Ильича на фоне кровавой плюшевой скатерти), возвращающие каждого из них в атмосферу собственного детства.

Имперский миф психологически чрезвычайно комфортен, несет в себе возможность избегания мучительного выбора модели личной самоидентификации, групповой конфронтационной дихотомии по принципу “мы и они”, дает ощущение осмысленности и важности любых личных жертв во имя сохранения государственности и систем надличностного властвования. В рамках этого мифа человек легко социализируется, безболезненно входит в состояние “винтика” -функциональной принадлежности системы внешних ему социальных структур, не зависит от сдерживающих социальную динамику групповых и национальных традиций.

Но вечно это компенсаторное социально-психологическое состояние продолжаться не в состоянии. Крах имперского мифа неизбежно происходит по следующим причинам:

а) Прохождение оптимума культурной и территориальной экспансии, что неизбежно приводит к чрезмерной унификации имперской идеи и формализации имперской идеологии.

б) Потеря, вследствие вышесказанного, привлекательности имперского мифа для тех подданных империи, которые в силу тех или иных причин сохранили навыки групповой идентификации и механизмы взросления, опирающиеся на миф неполитического характера (чаще всего - национально-религиозный).

в) Провал лежащего в основании мифа футурологического прогноза, наличие которого и делает имперский принцип организации общества изначально уязвимым, в отличие от национального, опирающегося на уже случившееся, хотя и часто переписываемое прошлое. Провал этот рано или

поздно демонстрирует личности иллюзорность имперской идеологии и принципиальную нереализуемость имперской идеи. Согласно основному закону манипулирования массой людей, эффективность любой имперской идеи обеспечивается футурологическим прогнозом, соотносимым по времени с периодом смены одного поколения другим. И если для первого имперского поколения отказ от имперской идеи невозможен, ибо означает лишение смысла собственной жизни как совокупности обоснованных ею лишений и жертв, то второе, хотя и воспитанное в имперской культуре детства, уже чувствует психологический дискомфорт и отреагирует возникающую тревожность модификациями имперской идеологии (типа хрущевской "оттепели" и горбачевской "перестройки"). Третье же поколение, войдя в активный возраст, отторгает имперскую модель как полностью необоснованную. Таков механизм смерти социальных мифов и потому период продуктивности любого имперского проекта сопоставим с продолжительностью жизни отдельного человека; он не может превысить интервал социальной активности трех человеческих поколений, т.е. 60-75 лет.

д) Непосредственным поводом для краха имперского мифа в истории всегда было полное истощение (как экономическое, так и психологическое) общества, наступающее вследствие реализованного или же постоянно готовящегося агрессивного импульса.

В советской России имперский социалистический миф, и так уже носивший надрывный, возвратный характер, являвшийся вынужденным наследником когда-то гремевших норманнского, византийского, великоордынского, панславянского и коминтерновского проектов, явно истощился уже к началу 70-х годов. Осознание этого породило альтернативные имперские идеи, в частности различного рода вариации "русской идеи" с сохранением имперской идеологии. Одной из самых ярких неоимперских моделей стала теория этногенеза Л.Н.Гумилева, которая попыталась восстановить традиционный тренд Империи на Восток. Усилиями отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС и лично т.Яковлева А.Н. данные попытки реанимации имперского мифа были пресечены на корню, что объективно приблизило наступление периода "перестройки", т.е. вступления российского общества в период распада имперской структуры государственности и кризиса соответствующего ей типа психологии людей.

Результатом подобного рода распада в истории всегда было образование на территории бывшей империи ряда национально ориентированных государственных образований. На основе же имперского типа личности, т.е. фактически - душевного калеки, лишенного ряда подлинно человеческих качеств, связанных с групповыми формами самоидентификации, постепенно, через реанимацию семейной религиозности и структур гражданского общества, в противовес подданному формировался гражданин.

Можно даже попытаться перечислить основные отличительные черты национального мифа, естественным образом сменяющего миф имперский, и того типа личности, на который он ориентирован:

а) Устойчивый приоритет интересов более или менее многочисленной группы людей, связанной единым языком, территорией и исторической традицией перед любыми другими групповыми и межгосударственными интересами.

б) Стабильность элиты и ориентация взаимоотношений “элита-масса” на традиционную патерналистскую модель властвования, опирающуюся на естественные для любого человека семейные роли и религиозно-культурную традицию.

в) Воспитание человека в семье в системе устойчивых моделей идентификации, что порождает личность хотя и менее творческую (т.е. невротичную), но зато более защищенную от болезненных последствий невротической тревожности.

Кстати говоря, классический психоанализ был создан З.Фрейдом именно с целью психологической помощи людям, получившим национально ориентированное семейное воспитание, прежде всего - евреям, и оказавшимся после открытия гетто в 1848 году в травматической для них имперской реальности. Но зато в момент распада Австро-Венгерской Империи именно евреи - Виктор Адлер и Отто Бауэр, бывший, кстати, ранее пациентом Фрейда, встали у руля новорожденного австрийского национального государства.

То же произошло и в России в момент распада Империи в 1917 году: у власти оказались люди, воспитанные в национальной традиции. Данный исторический пример, конечно же, не в состоянии ничего доказать, но он позволяет проиллюстрировать важнейшую для сегодняшней России проблему, а именно тот факт, что все нации, выйдя из имперского пространства, способны сравнительно легко сформировать свою национальную государственность и сформулировать свою национальную идею, все, кроме самой имперской нации.

Под имперской нацией мы подразумеваем ту более или менее многочисленную совокупность людей, чья история легла в основание имперской идеи и языком которой обозначалась культурная экспансия Империи. Процесс этногенеза у имперской нации, как правило, прерывается на стадии зарождения, национальная культура и модель взросления, влившись в имперский стандарт, постепенно унифицируются и формализируются; так что к моменту распада Империи имперская нация представляет собой весьма жалкое зрелище.

Имперская нация как социально-психологическое образование обречена на искусственно прививаемую невротичность. На ее компенсаторной сверхактивности, порождаемой лишенностью снимающей тревожность национально-групповой ритуалистики, этой своеобразной психологической “почвы” нации, основывалась вся система имперской социальной организации. И это не происки участников некоего “жидо-

масонского заговора", а естественная закономерность функционирования общества имперского типа, в котором имперская нация как таковая фактически неизбежно приносится в жертву и используется в качестве модели для культурного унифицирования подданных Империи.

В условиях краха имперского принципа саморегуляции общественного устройства любой имперской нации, и русские здесь лишь подтверждают общее правило, предстоит в относительно сжатые сроки решить ряд дополнительных задач:

а) Полностью сменить управленческую и интеллектуальную элиты, поскольку ранее они были вынужденно ориентированы на унифицированные, имперские, антинациональные по своей сути стереотипы деятельности.

б) Возродить национально ориентированное воспитание в семье и обучение в школе.

в) Начать процесс возрождения самовоспроизводящихся структур территориального, профессионального и коммуникативного характера. образующих защитный антиимперский буфер между личностью и государством.

г) Вновь психологически освоить собственную территорию через эмоционально окрашенное восприятие историко-национальной традиции, очищенной от имперских наслоений и фальсификаций. При этом ряд регионов естественным образом подвергнется психологическому отторжению в силу явного разночтения подобного рода традиций (в качестве примеров явного историко-культурного отчуждения могут быть названы, скажем, Чечня и Татарстан).

Задачи эти чрезвычайно сложны и должны решаться в весьма сжатые сроки, поскольку отмеченное выше расслоение сферы поведенческих мотиваций на уровень вытесняемого имперского мировосприятия, привитого нам в детстве, и сферу адаптационного постимперского поведения порождает психологический дискомфорт. Болезненное ощущение бессознательного чувства вины за предательство родительской культуры и естественное желание реставрации прошлого, привычного состояния социальности, в которое мы все вживались с детства, усугубляются еще и тем немаловажным фактором, что переход в режим национальной государственности для имперской нации неминуемо связан со статусным унижением, требующим дополнительной компенсации.

Причем это состояние статусной униженности, разделенности проживания по территориям национальных новообразований, возникших на развалинах великой Империи - Союза Советских Социалистических Республик, которых некогда "навеки сплотила великая Русь", может стать психологическим основанием как для процесса русского национального возрождения, так и для нового или же реставрационного варианта защитной имперской идеи. Русский этнос напоминает сегодня инвалида, разучившегося ходить самостоятельно, спутники которого убедили его отбросить костыли да и бросили посреди дороги, издеваясь на его

беспомощностью. Поэтому-то сегодня тема статусной униженности русской нации и тех проблем, которые возникают у русского населения в странах “ближнего зарубежья”, становится основным стимулом провоцирования политической активности российского населения, постепенно вытесняя имперский патернализм (тему защиты от преступности и т.п.) и тему борьбы за социальную справедливость, породившую недолгий, но яркий всплеск российской демократии. На ближайшую перспективу именно Крым, Приднестровье и Прибалтика станут ведущими политическими символами, а не столь эффективные ранее генеральские дачи и ограбленные старушки.

Средством обеспечения социальной стабильности на время разрешения данных сложнейших социально-психологических задач выступают два фактора, неплохо себя зарекомендовавших в ходе мировой истории. Прежде всего имеется в виду так называемый демократический миф, позволяющий на какое-то время вводить имперски воспитанную массу в режим психического отстранения от травматичности национально ориентированной трансформации. Вторым фактором выступает авторитарная модель властвования, одним из составляющих которой как раз и является институт президентской власти. Что из себя представляют эти два политико-психологических образования, каковы их функции в переживаемый нами период и в обозримой перспективе, - все это станет предметом изложения в следующих разделах данной записки.

Главным же выводом данного раздела можно считать то положение, что основным содержанием происходящих сегодня в России социально-психологических процессов является очередная (исторически уже пятая по счету) попытка перейти от имперского типа социальной организации к национальному.

Имперский миф умер, но это лишь клиническая смерть. Его символы исчезли из официоза, но до сих пор окружают нас в быту и еще долгое время даже простая открывашка будет напоминать нам о родной кастрационной символике серпа и молота. Его ритуалы отменены, но у кого из нас не забьется сердце при виде парадов и демонстраций в старой имперской кинохронике. Имперскую идею пытаются реанимировать, призывая нас мыть свои сапоги в Индийском океане, ее мечтают воскресить в прежнем нетленном виде, уповая на инерционность коммунистической имперской идеологии, - и серьезность этих проектов не следует приуменьшать, поскольку они коренятся в ностальгии по миру нашего собственного детства. Не стоит сбрасывать с политических весов и многомиллионную массу маргиналов, т.е. людей, не нашедших себя в новой реальности и агрессивно ищущих возможность выплеснуть связанную с этим обстоятельством агрессивность; маргинальные слои населения питают своей деструктивной энергетикой деятельность так называемых “народных фронтов” почвеннического типа.

В ближайшее время, в течение предвыборного 1995 года российское общество определится относительно перспективности данных операционалистских идеологий, порожденных крахом имперского мифа.

Сегодня мы можем лишь судить о тенденциях динамики коллективного бессознательного, которые наиболее явно проявляются в сфере отреагирования демократического мифа, особенно после спада соответствующих иллюзий, которыми было столь богато начало “перестройки”.

2. Генезис демократического мифа, его природа и основные функции. Перспективы демократии в России.

С психологической точки зрения демократия представляет собою систему навязчивых форм поведения и защитных объяснительных концепций, естественным образом востребуемых обществом в периоды ломки традиционных структур властвования, основанных на принципе патернализма и ведущих свое происхождение еще от организации первичной отцовской орды.

Первые проявления демократической организации общественной жизни мы обнаруживаем еще у древних латинян и этрусков, срыв формирования национальной государственности у которых породил великую Римскую Империю.

Демократия суть инфантильный, регрессивный тип поведения, выражающий стереотипы младенческой сращенности с миром и другими людьми. Тоска по утерянному Отцу-властителю, комплекс вины за его отвержение порождают спонтанную взаимоидентификацию и иллюзию равенства и братства. Не случайно самыми великими проповедниками демократии выступали и выступают люди инфантильного склада (типа А.Д.Сахарова и С.А.Ковалева), которые не способны воспринимать в качестве нормативного принцип реальности и воспроизводить взрослые адаптационные формы поведения.

Демократический миф есть вынужденная самоорганизация общества, лишившегося элиты, суть “крестовый поход детей”, протестантская игра дизадаптантов. И мы еще хорошо помним атмосферу расцвета демократического мифотворчества и облик его обязательно кем-то обиженных, расхристанных адептов с неизменными плакатами на груди.

Дальнейший генезис демократических институтов возможен в трех направлениях:

а) Из массы постепенно вычленяется новая элита героев-отцеубийц, которая тяготится демократическими институтами, делающими государственную машину неэффективной в силу чрезмерной инерционности массовых иллюзий и вынужденного популизма. Используя то или иное идеологическое обоснование, т.е. аргументацию, связанную с образом Врага, новые вожди переходят к авторитарным методам управления, сохраняя остатки демократии в качестве поддерживающей социальность иллюзии. Новое общественное устройство может воспроизводить и традиционные каноны, но как правило речь идет об имперской организации и имперской идеологии, ибо элита героев-отцеубийц терзаема бессознательным чувством вины, снять которое может лишь реставрация прошлого. Причем интеграция демократических иллюзий в рамках имперской организации общества может

достичь такого совершенства, как, например, в США, что борьба за торжество демократии во всем мире становится элементом имперского мифа и основанием для нагнетания традиционного для империи мессианского гегемонизма.

б) Демократический миф становится реальным основанием социальности, для чего необходимо наличие следующих предпосылок:

* сепаратизация личности от групповых и государственных структур на основе института частной собственности;

* разрушение патриархальной семьи и постепенная реализация принципа некорпоративности быта;

* принудительная инфантилизация населения посредством провоцирования специфической тревожности - страха ближнего своего;

* наличие гарантированного конституционально механизма ротации элиты, позволяющего без слома системы социальности отреагировать двойственность отношения к псевдо-Отцам, воспринимаемым коллективным бессознательным массы одновременно и в качестве спасителей и в качестве виновников психологического дискомфорта.

* выведение общественных структур, организованных на основе традиционного вертикального структурирования (типа армии, спецслужб, служб охраны правопорядка и пр.) за скобки политической жизни общества;

в) Демократический миф, обеспечивая на какое-то время социальную стабильность и позволяя сформировать новую постимперскую элиту, обеспечивает относительно безконфликтный переход к системе национальной государственности, в ходе которого естественным образом отвергается в силу своей антинациональности и антигосударственности.

Основной принцип демократического мифа, гласящий, что каждый человек, независимо от его цвета кожи, национальной принадлежности, гражданства, образования, пола и возраста обладает неотъемлемыми и равными с другими людьми правами, с социально-психологической точки зрения просто патологичен. Перед нами вариант бредовой моноидеи, ибо люди изначально не равны между собой, на чем и строится сама возможность социальности как заряженного эмоциональными переживаниями детства соотношения “элита-масса”. Как в религиозном мифе моноидея свидетельствует о болезни социума, о невозможности коллективного бессознательного как-то снять напряжение глубинного чувства вины (что было продемонстрировано З.Фрейдом на примере еврейского народа в его классической книге “Моисей и монотеизм”), так и господство эгалитарной моноидеи в социальной мифологии демонстрирует нам кризисное состояние общества, которое может быть преодолено, а может перейти и в хроническое состояние.

Демократия может быть рассмотрена в качестве социального заболевания на следующих основаниях:

а) Она постепенно разрушает систему социальной стратификации, размывает правящую элиту, лишает ее харизматической основы. В демократическом обществе нет и не может быть сословия Родителей,

отсутствует естественным образом воспроизводящаяся статусная субординированность. Естественным образом складывающаяся элита (национальная, военная, образовательная, имущественная и пр.) постоянно принудительно “опускается” путем нагруженности дополнительной порцией комплекса вины; создается своеобразный ритуал дискомфорта элитарности.

б) Демократический миф альтернативен не только имперскому (в силу своей либеральной ориентации), но и национальному мифу. Демократическое многонациональное государство может быть структурировано, во избежание постоянного кровопролития, исключительно по территориальному принципу. В рамках же мононационального общества демократическая идеология поддерживается путем накачки комплекса вины мажоритарной титульной нации по отношению к нацменьшинствам, намеренно импортируемым из различных горячих точек планеты.

в) Демократический принцип социальной организации в своем предельном проведении является антигосударственным, ибо ориентируется на сознательное самоограничение массы, что абсурдно, ибо данное свойство присуще именно и исключительно элите. Это разрушительная сторона демократии настолько очевидна, что от нее конституционально оберегают наиболее важные общественные структуры (армию, материальное производство, сферу образования и здравоохранения и пр.). Когда же, в периоды тяжелейших революционных потрясений, задачи стабилизации заставляют запустить вирус демократии и в данные сферы, создавая Советы трудовых коллективов и опрашивая студентов о качестве лекций профессоров, то это свидетельствует о критической точке социального кризиса, после прохождения которой произойдет либо полный распад государственности (называемый у нас “беспределом”), либо начнется регенерация общественной структуры на имперской или национальной основе.

г) Демократическое общество достигает стабильности путем принудительной инфантилизации населения, организуемой через прямое или косвенное массообразование, что заставляет вводить в жизненный мир личности ряд дополнительных фобий, провоцируемых системой СМИ.

Список обвинений, адресуемых демократическому мифу легко может быть продолжен. В концентрированном же виде эти обвинения формулируются следующим образом: демократия принципиально несовместима ни с одним из возможных типов социального устройства, ни с традиционным обществом (типа восточной деспотии, реанимируемой ныне иногда в режимах, организуемых ее реликтом - армией), ни с цивилизационными, т.е. компенсаторными формами - империей и национально ориентированным государством. При необходимости же вписать демократические элементы в структуру общества приходится применять ряд предосторожностей, системы сдержек и противовесов, определять запретные для демократии зоны, чтобы общественное здание не рухнуло.

Так зачем же она нам нужна, эта демократия? Почему она вновь и вновь прорастает на теле общества? В чем заключаются ее социальные функции?

Во-первых, демократический миф является не причиной, а индикатором социального кризиса, а точнее говоря - востребуется коллективным бессознательным в качестве незаменимого, но очень опасного при передозировке, лекарственного средства. Демократическая политическая система суть коллективный невроз, спасающий людей от индивидуальных форм невротичности. Порождаемый ломкой привычного и естественного для людей общественного устройства (в нашем случае - имперско-коммунистической организации общества) мощный комплекс вины не приводит через режим самонаказания к всплеску алкогольной интоксикации, либо же - массовым маниакальным проявлениям, не вводит население в состояние апатии, прерываемое лишь вспышками якобы немотивированного насилия, а отреагируется через специально придуманную игру. Правила этой игры таковы, что ты сначала выбираешь себе суррогат-Отца, потом убеждаешься в его поддельности и лишаешь его своей любви (т.е. совершаешь над ним то наказание, которого заслуживаешь сам). Идентификация же с этим избираемым мальчиком для битья позволяет получать искомое самонаказание в социально поощряемой форме, т.е. воспроизводить при этом наличную модель социальности. Говоря психоаналитическим языком, демократия суть садо-мазохистская игра, позволяющая массе проявлять порождаемую чувством вины аутоагрессивность без утери социальной стабильности.

Во-вторых, демократическая процедура позволяет совершенно естественным, хотя и случайным образом сформировать новую элиту. И поскольку масса избирает суррогат-Отцов по принципу соответствия их облика своим инфантильным архетипам, то эта новая элита, при всей своей случайности и полукриминальности, при том, что она тоже явно пока решает свои собственные психологические проблемы и переносит на систему отношений “элита-масса” структуру своего собственного “семейного романа”, является тем единственным результатом, который достижим и по сути дела уже достигнут в России в ходе демократического перехода от имперского типа общества к национальному.

И, наконец, еще одна, важнейшая функция демократии состоит в том, что она позволяет создать режим психологического отстранения у массы, оберегая людей от шока смены социальной модели. Постоянно имея возможность проецировать свои страхи и надежды, любовь и ненависть на собственноручно избранный объект, человек переходной эпохи как бы инсценирует свою душевную драму на политической сцене, достигая катарсиса, т.е. очищения от тревожности и деструктивных порывов.

В современной России демократический миф фактически находится уже на исходе своего влияния и мы можем подвести некоторые итоги его воздействия на наше общественное устройство и коллективную психологию.

В режиме психологического защитного отстранения демократия позволила нам успешно разыграть ряд политических пьесок сугубо терапевтического характера:

а) Сказка о счастливом обретении прекрасного принца, наследника великой империи, которому раньше злые недруги не давали заботиться о нуждах народных, но он чудесным образом явился и спасет всех нас (1985 - 1989 гг.). Империя уже была мертва в наших сердцах (одни анекдоты чего стоили!), но нужен был человек, который скажет нам об этом, проложит дорогу “новому политическому мышлению”, а потом за это поплатится.

б) Душещипательная драма о поиске и нахождении предателя, открывшего ворота Врагу (1989 - 1991 гг.). Империя, застывшая в своем движении, прекратившая территориальную и культурную экспансию умирает, превращается в крепость, стенами страха отделяющую ее от остального мира, который становится логовом коварного Врага. Человек, приоткрывший нам окно в этот мир, показавший нам то, что сосредоточием страха, разлитого в мировом сообществе наций являемся мы сами, совершил страшное предательство. Он разрушил стержень нашей социальности - образ Врага, ради борьбы с которым мы шли на столькие личные жертвы. По законам сказки, господствующим в нашем бессознательном, убивший Врага сам встает на его место. И расставаясь якобы навсегда со своим имперским прошлым на августовском карнавале у Белого дома, мы уже знали того, кто нам за все ответит (“оказался наш Отец не Отцом, а сукою...”, говоря словами Галича), и того героя-отцеубийцу, который в полном объеме заменит нам уже отработанный объект любви и ненависти.

в) Невеселая комедия под залихватским названием “american boy, поеду с тобой!”, позволившая подкрепить режим психического отстранения защитным фактором, известным в психоанализе под названием “идентификация с агрессором” (1991-1993 гг.). Если уж Враг победил и наша крепость пала, то давайте сдаваться на полную катушку: заведем себе Президента с его Администрацией и Госсекретарем, сенаторов и губернаторов, позовем американских советников, как японцы в 1945 году, и наступит чудо возрождения! Кстати говоря, не так уж и неправ был А.Невзоров, называвший в 1992 году наше Правительство “оккупационным” - психологически, на уровне бессознательно воспроизводимых символических форм так оно тогда и было. И за это тоже кто-то должен был ответить.

г) Античная трагедия, участвуя в которой и Хор (соратники Героя-отцеубийцы), и зрители, да и сам Герой-Президент прекрасно знают о том, что он обречен на гибель, на крах политической карьеры, хотя сам лично он ни в чем не виноват - таковы законы жанра (1994 - может быть дотерпим до 1996 года, когда нам обещали позволить распять нашего Героя легитимно, а может быть и нет). Подробнее современная модель восприятия фигуры нынешнего Президента на уровне российского коллективного бессознательного подробнее будет разбираться в следующем разделе.

Пока же можно попытаться сформулировать главный вывод данного раздела и ответить заодно на вопрос о перспективах демократии в России. При первом же взгляде на репертуар разыгрывания демократического мифа на российской политической сцене можно заметить характерное чередование жанров, отвечающих на традиционные “русские вопросы”: “Что делать?” и “Кто виноват в том, что мы это сделали?”. Виновного искать долго не приходится, ибо он всегда наготове - мы его для этого и выбрали (это Вам не имперская модель, где властвующую элиту можно было “опускать” только в анекдотах и бредовых ритуалах псевдопоклонения!). Психологический механизм демократии прост и ясен: душевное здоровье народа в неврозогенной обстановке смены социального мифа обеспечивается за счет отреагирования обоих полюсов амбивалентного отношения (любви и ненависти) на одном и том же объекте. Но не в одно и тоже время, как учил Иисус (“возлюбите врага своего...”) - и в этом главное отличие нашей демократической модели от более стабильной западно-европейской, опирающейся на христианскую мифологию.

Российское общество восприняло детские демократические игры с небывалым энтузиазмом, поскольку инфантилизация в стране - большой Зоне всегда была на грани предельного значения (и особенно, по целому ряду причин, среди мужской части населения). Но имперское прошлое имеет и негативные последствия для массовой психологии и главное из них - неизбывный патернализм, детская зависимость от властных структур как выражения родительского начала, а применительно к нашему случаю - как символического выражения т.н. ”опорного объекта”, материнской груди. Может быть стоит даже заменить заимствованный термин “патернализм” на родное “кормило власти”. Любой выраженный “оральный отказ” власти, попытка всерьез и надолго отнять нас от материнской груди государственного патронажа (типа пресловутой реформы 1992 года Ельцина-Гайдара) порождает сильнейший страх нелюбви, незащищенности и одиночества, выводящий нас автоматически во вторую, “кусачую” стадию оральной фазы развития.

Ни одно общество, а тем более организованное на федеральной основе, не в состоянии выдержать более двух последовательных циклов отреагирования любви и ненависти в отношениях “масса-правящая элита”. Тот этап данного психологического действа, который мы переживаем сегодня и который характеризуется безнадежной попыткой запуска старого российского имперского мифа, а закончится традиционным для классической демократии и неопробованным у нас еще крахом функционирования Кабинета Министров, показывает, что в России наступает эпоха отдохновения от демократии. В детскую комнату, где резвятся милые сорванцы, периодически должны наведываться взрослые, чтобы уберечь детей от опасностей и заставить их прибрать свои игрушки. По мере становления властных структур и формирования правящей элиты демократические институты будут сворачиваться (естественно, во имя стабильности и безопасности граждан), начиная с муниципального уровня,

где вместо низовых структур президентской власти во главе с назначаемым губернатором мы сегодня имеем мини-Парламенты и мини-Президентов.

Демократия дала нам главное - новую правящую элиту, каковой бы полукриминальной и бессознательно имперской она ни была. Как ни парадоксально это прозвучит, но именно ради этого и проводились все реформы (даже экономическая). Новая элита в поисках стабильного воспроизводства режима властвования абсолютно органично в течение нынешнего политического года выйдет на эксплуатацию национального мифа, чего ни при каких условиях не могла себе позволить ее предшественница времен “перестройки”. При этом демократические механизмы становятся явным препятствием стабилизации социально-политической ситуации, а демократические лидеры - источником антигосударственных проявлений.

И если нынешняя команда, опирающаяся на фигуру Президента Ельцина сполна хлебнет горечи народного разочарования и отчуждения, в силу необходимости платить за слишком высокий уровень надежды, веры и любви в начале текущего управленческого цикла, то пришедших им на смену людей ожидает совсем другая судьба. Детские демократические игры по поиску внутреннего Врага и идентификации с тем Врагом, которым нас пугали ранее, полностью сыграны. Враг вновь будет найден вовне и только тогда начнется кропотливейшая работа кристаллизации основ национальной ориентации в государственном устройстве и в душах людей.

И это не будет Золотым веком, т.к. переориентация России на национальный миф связана с неизбежным распадом федерального государства, многомиллионными потоками беженцев и переселенцев, жесткой внешней политикой и жестокой практикой охраны правопорядка. Даже если страна выдержит в этот раз данное напряжение и не сорвется в очередной имперский искус, ныне функционирующие формы сквозной демократии будут надолго забыты. Коллективное бессознательное нации, консолидирующейся вокруг разделения мира по принципу “мы и они” и лишенное имперской мессианской жертвенности, востребует не демократические, а авторитарные формы управления (но только не монархию, как считают сегодня многие, т.к. она по своей природе, подобно демократии, унификационна, а значит - антинациональна).

Демократия же, сыграв свою важнейшую социально-психологическую роль по формированию режима отстранения у массы и способствовав появлению на свет некоей протоэлиты (список которой, кстати говоря, почти что закрыт), станет теперь профессиональной игрой новой, национально ориентированной управляющей касты, обеспечивающей в ее среде вертикальную динамику и распределение меры ответственности.

3. Психологические корни института президентства в России и основные функции Президента в период становления национальной государственности.

Институт президентской власти возник в период начала краха двух великих имперских проектов - британского и французского в конце 18 -

начале 19 века. И сразу же обнаружилась его главная опасность, на которую нам следует обратить особое внимание - всенародное избрание президента и противопоставление его представительным органам власти почти автоматически приводит к реставрации имперской идеи, о чем свидетельствует история Франции и Северо-Американских Соединенных Штатов.

Иным путем пошли немцы, которые продемонстрировали нам всем в 20 веке другую сторону все той же опасности - наличие Президента как чисто представительной фигуры при наличии мощной исполнительной власти приводит к срыву демократической модели управления и созданию имперской квазидемократии, обычно называемой фашизмом. Проблемы, внезапно возникшие в отечественной юридической практике в связи с необходимостью строгого и беспристрастного определением данного социально-психологического явления, дают нам право отдельно остановиться на этом вопросе.

Фашизм представляет собой реакцию коллективного бессознательного общества, находящегося на стадии распада имперской социальной организации, на сдерживание в рамках демократического режима властвования, сопряженного с национально-культурным унижением, тенденций формирования национально ориентированной государственности. С данной точки зрения фашизм есть форма прямой демократии, власть самодовлеющей массы, сплоченной страхом незащищенности системой государственности и в порыве этого страха отринувшей от себя традиционную элиту (особенно при попытках реализации со стороны последней радикальных реформистских проектов левого или правого толка). Становление в нашей стране, столь многим пожертвовавшей ради спасения Европы от “коричневой чумы”, устойчивой и самовоспроизводящейся системы фашистских организаций, потенциально способных развиться в массовое движение (согласно данным апрельских опросов 51% респондентов ответили нейтрально на вопрос лучше или хуже им будет, если к власти в стране придут фашисты), свидетельствует об одном - дальнейшее сдерживание движения России по пути обретения национальной идеи и национальной государственности чревато естественной реакцией отторжения демократических институтов снизу. Инерционное захлестывание общества суррогатными формами групповой взаимоидентификации фобийного плана, среди которых помимо фашистских группировок могут быть названы и структуры организованной преступности, и полукриминальные финансово-промышленные группировки, и т.д., не позволяет больше сдерживать процесс национального возрождения российского общества, в результате которого только и могут быть порождены охранительные самовоспроизводящиеся структуры, прообразом которых является нынешнее казачество. Фашизм - это не сорняк, случайно выросший из занесенного к нам сквозняком “перестройки” заморского семечка, и выпалывать его, арестовывая отдельных активистов и реквизируя отдельные книжки, просто бессмысленно. Истоки фашизма коренятся в глубине души каждого из нас и

проявляются там и тогда, где страх, порождаемый социальной незащищенностью и ликвидацией патерналистской модели властвования, не может быть снят групповыми формами защитной национальной и территориальной взаимоидентификации ввиду их отсутствия.

В России конца 80-х годов XX века институт президентства, возникнув в ходе “перестройки” в чисто немецком варианте, постепенно, через французскую модель, трансформировался в некое переиздание соответствующей структуры в США (причем для настоящего политического момента характерно то, что данный выбор еще не завешен, поскольку все взаимоисключающие ведущие центры власти данных моделей - Канцлер с его Кабинетом Министров, Президент с его правящей Администрацией и местные самоуправляющиеся Коммуны, политически представленные в Сенате - у нас сосуществуют рядоположенно).

Но тем не менее сам институт президентства неизбежно возникает на стадии краха имперской идеи в силу востребования массой индивидуализированной проекции своих бессознательных душевных переживаний, концентрирующихся вокруг комплекса вины за “грех отцеубийства”.

Можно даже указать на терапевтическую роль самого слова “президент”, введение которого в набор стандартных политических рационализаций (наряду с прочими новациями типа “парламента”, “демократии”, “многопартийности” и пр.) позволило сформировать компенсаторную защитную модель функционирования коллективного бессознательного российского общества по принципу ассоциативности. Для носителей современной российской ментальности характерна неосознаваемая ассоциативная связка слова “президент” с личностью Джона Ф. Кеннеди, что легко объяснимо эмоциональным шоком от его трагической гибели, шоком от реализации наяву (на телеэкране) нашей общей глубинной мечты об “отцеубийстве”. Сопряженная со спецификой вхождения российского общества в конце 80-х годов в описанный в предыдущем разделе очередной этап защитной идентификации с северо-американской политической и экономической моделями, данная ассоциация позволяет четко квалифицировать всю так называемую “перестройку” как реализацию стремления российского коллективного бессознательного воспроизвести в области политических ритуалов чисто американский способ снятия тревожности и выплеска чувства вины, порождаемых квазидемократической имперской ментальностью, посредством персонификации на общенациональном лидере амбивалентности любви, снимающей страх, и ненависти, снимающей аутоагрессию.

Глубинная тяга российского общества к воспроизведению американских стереотипов социальности настолько очевидна (только в XX веке мы завершаем уже четвертый его рецидив), что требует не доказательства, а объяснения. И это тем более важно, что до сих пор идеологи как имперской реставрации, так и национальной переориентации имперской идеи эксплуатируют миф о “перестройке” как реализации

коварного плана американских спецслужб и их местных “агентов влияния” (вариант, ничего по сути не меняющий, но более монистичный - “перестройка” как результат глобального “жидо-масонского заговора”, уже прибравшего к рукам США). Мифы подобного рода истинны, как истинна любая параноидальная проекция конфликтов собственного бессознательного на объекты внешнего мира. В них отражается стремление к идентификации с коллективным бессознательным народа, имеющего схожие социально-психологические проблемы и научившегося их решать посредством сложной системы ритуалов, стержнем которых как раз и является институт президентской власти, позволяющий частично нивелировать психопатологические тенденции демократии, сохранить ее в качестве системного принципа социального устройства.

С психологической точки зрения США действительно выступают в качестве оплота и образчика демократии, понимаемой как инфантильная игра защитного толка, создающая режим психического отстранения травмы постимперского “отцеубийства” и позволяющая отреагировать на избираемых объектах бессознательные тревожность и чувство вины. Северо-американские Соединенные Штаты с момента своего становления в качестве отдельного государственного образования стали прибежищем для тех представителей тех бывших имперских стран и народов (Великобритании, Франции, Германии, Италии, Австро-Венгрии и пр.), которым непосильна оказалась задача национальной трансформации через временную демократическую модель и которые предпочли присоединиться к обществу себе подобных “культурных подранков”, создавших имперскую модель демократии. Структура организации и динамика функционирования коллективного бессознательного американского общества не являются темой данной аналитической записки и поэтому, завершая их рассмотрение следует особо отметить лишь то, что касается глубинных мотивов спонтанной российско-американской идентификации:

а) Идентификация подобного рода не является чем-то специфически российским, а выступает в качестве своеобразной психологической опоры для переориентации традиционных, имперских и субимперских (колониальных) социумов в сторону национальной государственности. Вхождение в данный режим глубинного уподобления США является психологически комфортным, пребывание в нем приносит политическую поддержку и экономическую помощь, но рано или поздно наступает его естественное отторжение из-за блокировки канала защитной идентификации с Америкой ростом национального самосознания, работающего по противоположной схеме бессознательного отторжения близкого по духу социально-психологического образования.

б) Наличие такой идентификации, проявляющейся во всем - от “новояза” коммуникационной культуры до смены привычного рациона питания и от облика отдельного человека до модификации городского ландшафта, не гарантирует от постоянных всплесков негативизма к его объекту. Достаточно вспомнить историю российско-польских отношений,

т.к. традиционно именно Польша (до ее поглощения и неудавшегося переваривания в имперском котле) с ее квазидемократической государственностью, порожденной чрезмерно аффектированной национальной идеей, играла для России роль любимого врага, объекта любви и ненависти. От итоговой конфронтации с США как социально-психологическим типом частично гарантированы лишь страны христианской демократии, традиции функционирования коллективного бессознательного которых под эгидой постоянно провоцируемого чувства вины позволили им перевести (постепенно, периодически срываясь в кровавую компенсаторную деструкцию мировых войн) демократию из острой формы в хроническую. Поэтому современный мир, рассматриваемый с глобальной точки зрения, обречен на конфронтационный системный раскол на “лагерь демократии” (т.е. те социальные образования, для которых национальная трансформация оказалась невозможной либо изначально, как в США, Канаде, Австралии и пр., либо в результате ее фобийного отторжения в ходе многократного посттравматического военного невроза, как в странах европейской демократии), спаянный единым невротическим страхом и компенсаторным стремлением агрессивно навязывать собственный коллективный невроз остальному миру в качестве образчика душевного здоровья; и терзаемый постоянными конфликтами конгломерат национально ориентированных социальных образований, моделью для взаимоидентификации которых в перспективе вполне могла бы стать преобразившаяся Россия.

в) Исходя из вышесказанного мы можем дать глубинную психологическую характеристику феномену “лагеря мирового социализма”, бывшему еще не так давно реальным субъектом мировой политики. Так называемое социалистическое содружество представляло собой объединение стран, не вынесших психологическое напряжение национальной переориентации и регрессировавших до воспроизведения антидемократической, т.е. основанной на традиционной патерналистской архаике, имперской государственности. К социалистическому выбору оказались склонны либо постимперские социумы, ранее входившие в состав Российской, Австро-Венгерской и Османской империй, а также - те приобретшие социальную динамику вследствие военных и экономических контактов с западным миром традиционные общества, для которых национальная идея еще не стала реальным основанием коллективных бессознательных процессов (например - страны арабского мира). Социализм, как и демократия, представляет собой переходную форму от имперского общества, воссоздающего психологические черты первобытной архаики, к национально ориентированной государственности; и, так же как и демократия, он может принимать как кратковременные, так и хронические формы. Становление общественного устройства, основанного на национальном мифе, постоянно связано с опасностью нарушить баланс агрессии и страха в глубинной психологии общества и временно стабилизироваться либо в демократической модели, связанной с индуцируемой инфантилизацией населения, либо - в модели

социалистической, где необходимая инфантильная регрессия привносится в общественную жизнь системой искусственных фобий (репрессивно подкрепляемой идеологией). В целом же, коммунистическая идеология в силу своей унификационной сущности довольно-таки близка демократии, легко порождает с нею смешанные образования (типа социал-демократии) и равно с нею носит сугубо антинациональный характер.

г) Появление в нашей стране института президентской власти на этапе психологической "идентификации с агрессором" отнюдь не означает чисто временного реактивного, говоря психологическим языком, характера данного социального образования (хотя при возможной пока частичной имперской реставрации под неокоммунистическими популистскими лозунгами данный институт будет под любым поводом ликвидирован как ненужное в отработанной коммунистической модели фобийной инфантилизации населения психологическое излишество). При максимальной опоре на горизонтальные идентификационные структуры (семейные, территориальные, религиозные, профессиональные и пр.) национально организованное общество нуждается и в вертикальной основе - общенациональном лидере, продуцирующем и персонифицирующем национальный миф, т.е. мотивационное культурно-историческое обоснование психологической связки "мы - они". От демократического Президента общенациональный лидер отличается основанной на харизме несменяемостью и возможностью при необходимости действовать в национальных интересах вне системы государства и права, опираясь на прямые реактивные формы социальной активности масс, а не подавляя их. Эволюция поста Президента в сторону концентрации энергетики национального лидерства происходит естественным путем при стремлении социальной системы в условиях растущего числа локальных конфликтов совместить все более возрастающие групповые и территориальные интересы с интересами общегосударственными. И очень жаль, что по ряду привнесенных причин в сегодняшней России идею национального лидерства эксплуатируют почти исключительно внегосударственные и оппозиционные структуры.

д) Как показывает исторический опыт формирования харизмы национального лидерства на основе института президентской власти (последний по времени пример подобного рода трансформации - фигура чеченского лидера Дудаева, которого уже мало кому приходит в голову называть президентом), процесс этот инициируется и поддерживается конфронтационной идеологией, связанной с нахождением внешнего Врага. Применительно же к современной российской ментальности основой данного процесса постепенно становится ситуация территориального и политического унижения русской имперской нации, получившей статус государственной разделенности (статус подобного рода, навязанный России и Германии по итогам первой мировой войны, фактически породил самые одиозные компенсаторные имперские проекты XX века - СССР и "тысячелетний рейх" - и был в итоге преодолен за счет многомиллионных

человеческих жертв). Именно постоянное педалирование проблем Крыма, Приднестровья, русских общин в станах Балтии и азиатского “ближнего зарубежья”, вкупе с последовательной политикой жесткого подавления очагов сепаратизма на территории России, стихийно приобретающих антирусскую окраску, позволит в ближайшей перспективе не только эмоционально зарядить русский национальный миф, но и придать Президенту России психологический статус национального лидера. Параллельно должны быть ликвидированы посты Президентов во всех псевдонациональных республиках на территории России, поскольку если все они, имея среди населения лишь небольшой процент титульной национальности, выполняют на данном этапе важнейшую позитивную функцию провокации роста русского национального самосознания, то в обозримом уже будущем вполне могут стать источником перманентных военных конфликтов. В данном отношении не может не насторожить внезапное превращение в ходе конфликта в Чечне Российской Армии в некие “федеральные войска”, самим своим названием санкционирующие возникновение воинских подразделений у субъектов федерации.

Президент в российской модели становления национальной государственности - это тот самый Герой-отцеубийца, который берет на себя нашу общую вину и создает тем самым психологическое пространство для трансформации структур коллективного бессознательного в сторону подавления тяги к имперской компенсаторной жертвенности и созидания естественных для человека горизонтальных форм групповой идентификации. Функции Президента соответствуют основным этапам отреагирования на нем нашего общего “греха отцеубийства”, бессознательной вины за предательство имперского прошлого:

а) Функция спасителя, Героя-охотника, убивающего злого Волка-людоеда (т.е. предыдущего Президента). Осуществляя данную функцию Президент как бы оживляет действующий социальный миф. Поскольку эпоха непосредственного явления Героя массе на митингах и политических карнавалах явно подошла к концу, то данную функцию Президент осуществляет через средства массовой информации, и прежде всего - через газеты (система “портретный текст”) и телевидение (система подачи политической жизни общества в жанре телесериала). Механизмы адекватной подачи образа Президента на каждом этапе его функционирования могут быть подробно расписаны, но они выходят за рамки темы данной аналитической записки.

б) Функция предателя, вынуждающего нас к совершению очередного шага антиимперской эмансипации. Образно говоря, Президент, избранный для выполнения материнской опекающей роли, вдруг отправляет нас, как в сказке о Красной Шапочке, в страшный лес свободы с тощей потребительской корзинкой в руках. На данном этапе Президент становится рупором господствующей идеологии, он жертвует своей былой популярностью во имя насильственного продвижения общества по пути реформ. Делать это можно лишь постоянно (не реже раза в неделю) общаясь

с массой с телеэкрана и рассказывая ей очередную идеологическую сказку. Идеологический этап функционирования Президента характеризуется необходимостью постоянного предъявления массе образа Врага (коррупционеров, коммунистических реваншистов фашистского толка, чеченских террористов и пр.) и провоцирования у нее трансформации бессознательного чувства вины в осознание виновности, историко-политической ущербности, требующей терпения и стабильности как форм покаяния. Российское общество в данном отношении уникально, ибо постоянная ориентация на нарциссические формы мировосприятия (типа построения социализма в одной стране) и стремление к чисто мастурбационным формам удовлетворения деструктивных импульсов по принципу перманентной “внутренней колонизации”(одна Чечня становится ее объектом уже в третий раз) порождали и продолжают инерционно порождать такое мощное разлитое в обществе чувство вины, которое позволяет проводить над ним почти любые социальные эксперименты, проводить реформы “в три приема”, не опасаясь нарушить социальную стабильность.

в) Функция Врага, злого Волка, который, желая нашей погибели, из корыстных интересов завел нас в ситуацию, связанную со страхом и отсутствием ощущения социальной защищенности. Это естественная реакция на любые реформы, связанные с переходом от имперского вертикального патернализма через псевдоматеринскую роль демократических механизмов к горизонтальному патернализму национально ориентированного общества. Ошибкой было бы не использовать специфику данного этапа функционирования Президента, пытаться смягчить негативное психологическое восприятие его фигуры коллективным бессознательным посредством подстановки под волну народного гнева неких промежуточных фигур. Точно так же как антиимперская реформа протаскивается в жизнь исключительно при опоре на популярность Президента (и практически больше ни на что не опирается), так и антидемократическая национальная контрреформа должна проводиться при опоре на непопулярность Президента, который только при данных обстоятельствах может себе позволить пойти данным путем. Главным преимуществом президентской власти выступает сложность досрочной ротации (импичмента), что сдерживает возможности неизбежной на данном этапе демократической оппозиции деятельности Президента.

В процессе социально-психологической эволюции России к обретению мифологически нагруженной национальной государственности институту президентской власти отводится, таким образом, особая роль. В этой связи следует отметить, что нынешняя ориентация на личностные, харизматические черты действующего Президента носит сугубо временный, вынужденный характер. Президент - это не сверхчеловек, наделенный выдающимися качествами (как показал опыт все тех же США, на переломных этапах истории вообще лучше иметь Президента-инвалида, типа

Т.В.Вильсона и Ф.Д.Рузвельта), и даже не реальный глава государства с некими особыми властными полномочиями.

Президент является важнейшим элементом функционирования психологической модели рационального властвования, выполняя роль символа (подобно государственным Гербу, Флагу и Гимну), будящего в массе амбивалентность, т.е. двойственность, детских форм отношения к родительской инстанции и провоцирующего определенные виды отреагирования полюсов данного амбивалентного отношения (в интервале “любовь - ненависть”) в интересах общего хода национально ориентированной социальной трансформации.

Данное обстоятельство ставит сложнейшие, но при этом вполне реальные задачи перед службами психологической поддержки и организационного обеспечения социально-психологических функций Президента. Прежде всего имеется в виду подразделения президентской Администрации, роль которой в данной модели сводится к анализу состояния коллективного бессознательного российского общества и развертыванию оптимальной модели косвенного регулирования его динамики путем целенаправленной предъявления массе через средства массовой информации и группам территориальных и статусных элит в реальной ритуалистике Президента как символа нации.

Методика подобного рода настройки всего общественного механизма на символический камертон аффективно окрашенного восприятия фигуры Президента основывается на следующем допущении, за которым стоит столетний опыт мирового психоанализа. В рамках развертывания рациональной системы властвования ее центральный элемент - инфантильные комплексы, связанные с отношениями к родителям, и стереотипы их отреагирования - как правило выступает как нечто сложившееся и неизменное. Формы же спровоцированной активности массы (и в том числе - отсутствие таковой в условиях социальной стабильности) постоянно варьируются в зависимости от этапа развития общества и стоящих перед ним задач. Соответственно, перед службами психологической поддержки Президента встает задача использования всей палитры эмоционального отношения к его фигуре у разных категорий граждан и четкого прогноза массовой реакции на каждое его выступление и действие. Причем, если до недавнего времени соответствующие службы отрабатывали в основном навыки повышения рейтинга Президента, т.е. целенаправленно манифестировали Президента лишь в качестве патерналистского символа, то ныне явно назрела пора начать регулировать социальные процессы на основе невысокого уровня популярности действующего Президента (ведь плавают же парусники и против ветра!). Используя механизмы символического воздействия на коллективное бессознательное общества можно прогнозируемо инициировать отдельные всплески политической активности (выборы, прямые формы активности массы - митинги, шествия и пр.), а в остальное время - гасить их, манипулируя с принятым в системе действующей идеологии образом Врага.

Как было уже упомянуто выше, глубинные слои коллективного бессознательного, несущие в себе энергетику исторической традиции этноса, воспринимаемую нами в раннем детстве в качестве набора поведенческих стереотипов, структурированы мифом и сказкой. Наиболее адекватно модель коллективного бессознательного советского типа, лежащая в основании наших первичных, ныне почти полностью блокированных, желаний и эмоций, описывается в символике сказки о Красной Шапочке. Образы этой памятной нам всем драматичной истории наиболее четко связывали детские фобийные переживания (так называемую "фантазию о раннем совращении") и востребуемые обществом формы их массового проявления: окрашенную страхом перед серым Волком социальную пассивность ("Лишь бы не было войны!") и компенсаторную жертвенность, перемежающуюся агрессивными проявлениями.

На различных этапах своего управленческого цикла действующий Президент абсолютно адекватно посылал массе символически выраженные запросы, сформулированные на языке сказки. Оживляя востребуемый массой политический миф, он последовательно выступал то в качестве доблестного Охотника, с молодецкой ухмылкой указывающего нам на виновников всех наших бед и "вспарывающего им брюхо", то в качестве Матери-предательницы, отправляющей нас в страшный темный лес самостоятельности, заставляющей наконец повзрослеть, и т.д.

Но процесс символического общения с коллективным бессознательным массы дело весьма серьезное и ответственное, как бы ни были забавны возникающие при этом сказочные аналогии. И сегодня он дал явный сбой. Вместо того, чтобы манифестировать Президента в качестве серого Волка, добиваясь на этой основе сплочения общества на путях национально-групповой идентификации, его символический образ трансформировался из Матери в больную и сонливую Бабушку, которая уже не может кормить нас и о нас заботиться, а напротив - сама требует нашей защиты и любви. Реализация в полном объеме подобного рода символического послания массе, которое худо-бедно работало в свое время на базе фигур позднего Брежнева и Черненко, в современном обществе явно нежелательна, ибо вызывает лишь реакцию отторжения, ибо вызывает в коллективном бессознательном импульс "отцеубийства", желание политической смерти суррогат-Отца. Поэтому сегодня мы наблюдаем явную эклектичность символический запросов массе, продуцируемых Администрацией Президента (и, прежде всего - его пресс-службой), когда массу вводят в режим фрустрированности, на длительное время лишая символической подкормки, а затем демонстрируют ей вперемешку различные ипостаси фигуры Президента.

С одной стороны, в этом виноват явный непрофессионализм работников соответствующих служб, забывающих порою о том, что рассказчик анекдотов сам не должен смеяться, а производитель политического имиджа Президента не должен забывать о том, что перед ним лишь созданная собственноручно иллюзия, символический раздражитель

инфантильных комплексов массы, которую надо постоянно корректировать, а не благоговеть перед нею. Беспрекословно уважительное отношение к фигуре Президента России, являющееся, кстати говоря, важнейшим условием ее символической действенности, отнюдь не должно мешать адекватному пониманию природы ее социально-психологического воздействия на коллективное бессознательное.

С другой же стороны, не стоит забывать и о том, что российская демократия пока подарила нам лишь своего первенца, который, в силу специфики сложного перехода от прямого устрашения в деле общественного управления к косвенному символическому манипулированию массовыми реакциями, был вынужден опираться не на демократические навыки электората, а на свои личностные, харизматические качества. Своего первенца масса особо любит в начале его управленческого цикла, но особо и ненавидит на финише. Последующее развитие института президентской власти в России позволит очистить символизм фигуры Президента от харизматических наслоений. Президент - это прежде всего актер, делегированный обществом для исполнения серии не всегда приятных, но остро необходимых массе символических ролей, для участия в зачастую тягостных для него лично ритуалах властвования (приемы, встречи, переговоры, обеды, визиты, выставки, церковные службы и пр.) и для озвучивания социальных мифов. Работа эта весьма тяжела и для нее, кроме прочих необходимых качеств, требуется и бессознательная мотивация жертвенного служения массе, которая явно отсутствует у ныне действующего Президента.

И, наконец, нынешние участившиеся сбои в символической подаче Президента связаны и с тем обстоятельством, что надвигается срок президентских выборов, психологическая модель которых в России явно не отработана. Вынужденное связывание властных функций с личностными качествами действующего Президента привело к его психологической несменяемости. Создалась иллюзия концентрации социальной стабильности на фигуре конкретного человека, а не на символической роли, которую может сыграть и кто-либо другой. Все еще продолжающийся “романтический период” нашей постперестроечной политической истории, когда массой востребуются так называемые “яркие личности” с истерико-параноидными проявлениями, ставит проблему преемственности модели властвования, которая анализируется в следующем разделе аналитической записки.

Главный же вывод данного раздела можно сформулировать очень кратко: институт президентской власти есть весьма эффективный механизм манипулирования массой путем провоцирования у нее прогнозируемых реакций на выверенные символические запросы. Те же сбои и неувязки, которые возникли и будут еще неоднократно возникать в процессе разворачивания данного социально-психологического института в России связаны с неизбежным для периода смены властующей элиты политическим “любительством”. По мере же профессионализации как самих политиков, так

и, что даже более важно, работников служб психологического обеспечения их деятельности, вышеописанный механизм обеспечения стабильности общества на стадии национально ориентированной трансформации, хорошо себя зарекомендовавший во многих странах мира, эффективно заработает и в нашей стране.

4. Проблема преемственности в процессе становления института президентской власти в России.

В целом модель реформирования имперского типа общества в сторону создания структурных и психологических предпосылок национальной государственности в режиме эффективного функционирования института президентской власти может быть представлена следующим образом:

а) Демократические реформы (особенно в сфере либерализации хозяйственных и имущественных отношений), остро необходимые для сепарации новой правящей элиты, проводятся президентом на этапе максимальной харизматической, т.е. связанной с соответствием его облика нашим инфантильным бессознательным импульсам, популярности.

б) Но демократия не суть самоцель реформы, и поэтому не пике своей непопулярности Президент начинает национально ориентированную контрреформу, позволяющую провести отбор и субординирование среди правящей элиты.

в) Преемственность же модели властвования обеспечивается тем, что весь цикл воспроизводится вновь после каждых выборов, ибо востребуется массой вновь Герой-Президентоубийца и все начинается с начала.

Отличительной чертой сложившейся в России модели функционирования президентства является то, что каждая фигура отрабатывается по обоим полюсам амбивалентности (любви и ненависти), так что повторное избрание абсолютно исключено; причем это относится как к Горбачеву, так и к Ельцину. Что же касается способов обеспечения гарантий от срыва национальной ориентации в реформировании страны из-за случайного прихода к власти имперски настроенных сил, то следует порекомендовать естественную в данной ситуации стратегию “выращивания Иуды в своем собственном коллективе” и своевременное его “раскручивание” в момент максимума непопулярности властвующего Президента.

Идеальный преемник президентских полномочий в сегодняшней России, отвечающий потребностям коллективного бессознательного и способный не только успешно пройти через горнило выборов (современная глубинная психология способна помочь привлечь к своей фигуре хотя бы заветные 5% электората практически каждому активному политику с соответствующим личностным потенциалом и готовностью к реальному сотрудничеству), но и воспроизвести весь вышеописанный управленческий цикл “любви-ненависти”, должен на этапе предъявления его массе в предвыборной ситуации обладать следующими, лишь для профана взаимоисключающими качествами:

1) Он должен устойчиво восприниматься в качестве революционера-отцеубийцы, главаря “банды мятежных сыновей” (если описывать ситуацию образами из известного психоаналитического мифа); в то же время его биография, личностные качества и даже внешний вид должны обеспечивать легкость смены маски и появления в виде “отца родного”, отвечающего патерналистским ожиданиям массы.

2) Описанное в первом разделе шизоидное расслоение психики современного россиянина (причем каждого - от главы промышленно-финансовой группы до привокзального бомжа) влечет за собой неодолимую тягу к реставрации имперского прошлого, способной снять порой невыносимое психическое напряжение глубинного конфликта с миром собственного детства. Поэтому тот человек, который претендует на роль избранного массой объекта проецирования данного конфликта должен манифестировать облик старого, проверенного имперца-реставратора; и одновременно, опираясь на болевые точки русского национального самосознания, должен привязывать имперские ожидания массы к перспективе возрождения национального мифа, т.е. действовать в режиме национально ориентированного лидера.

3) Особенностью российского электората является устойчивое стремление отдавать предпочтение в ситуации выбора фигуре страдальца, потерпевшего от власть предержащих, но тем не менее показавшего явные качества бойца, т.е. в нынешней ментальности - человека, способного на алогичные, эмоционально окрашенные действия, нарушающие правила системы властвования.

4) Человек, претендующий на психологическую роль проективного объекта, адекватного глубинным конфликтам российского коллективного бессознательного, должен демонстрировать на личностном уровне те психопатологические проявления, которые специфичны для массы в данный момент социально-психологической эволюции общества. Лишь при этом условии произойдет бессознательное “узнавание” и спонтанная массовая идентификация с избираемым Президентом. Выборы суть чрезвычайно эффективная форма массовой психотерапии; прогнозируемая низкая активность электората объясняется сегодня лишь тем, что нынешние политики, пришедшие к власти на волне перестроечного эмоционального всплеска энергетики массы, не желают признать тот очевидный факт, что всплеск этот был инициирован не ими и что игра в выборы еще только начинается. Выигрывает в данной игре тот, кто сумеет, отбросив маску защитной респектабельности “политика в первом поколении” играть те роли и надевать те маски (иногда по нескольку за день), которые востребуются массой. Самой эффективной на сегодняшний день, что лишний раз продемонстрировали и неожиданные для псевдополитиков результаты выборов 12 декабря, является маска авторитарного параноика, спонтанно продуцирующего словесные потоки защитных рационализаций; заговаривание массы является весьма эффективным способом социальной психотерапии, поскольку введение своих смутных тревожных ожиданий и

вытесняемой реактивной деструктивности в предлагаемую извне логически прозрачную вербальную конструкцию приносит несомненное облегчение человеку переходной эпохи. Но удержаться в фокусе психологической проекции кандидат в общенациональные лидеры может лишь одевая одновременно с авторитарной и шутовскую маску, демонстрируя свою пригодность для второго и третьего этапов президентского управленческого цикла, когда он будет из “отца родного” постепенно превращаться в “мальчика для битья”.

5) При наблюдаемом естественном оттоке энергетики электоральной активности населения к фигурам региональных лидеров, которые самим своим положением в структуре политической власти поставлены в весьма выигрышную позицию “бунтарей-отцеубийц”, максимальные шансы на уровне рациональных симпатий массы, пока еще связанных с образом за все виновного “внутреннего врага”, имеет человек, демонстративно враждующий с постимперским центом, отстаивающий право субъектов федерации самим тратить свои собственные доходы. Кстати говоря, проблема субвенций псевдонациональным образованиям на территории России, искусственно поддерживаемым в режиме “суверенной” государственности за счет финансовых и товарных изъятий из традиционно русских регионов, станет одним из главнейших средств провоцирования русского национального самосознания на предварительном этапе вхождения в режим функционирования национального мифа - этапе психологического перехода, выражаемого традиционным лозунгом: “Бей своих, чтоб чужие боялись!”, от поиска внутреннего врага к нахождению врага внешнего, системного. Но вместе с тем, в силу того обстоятельства, что при всех психологических достоинствах кандидат в политические лидеры должен затратить на свою даже самую адекватную демонстрацию массе огромные финансовые средства, несопоставимые с соответствующими возможностями частных лиц и политических партий, его предвыборная кампания состоится лишь при условии крупных финансовых вливаний со стороны банковских и промышленных консорциумов; крупному капиталу, сконцентрированному сегодня в московских финансово-промышленных группах, потребен человек предсказуемый в своих действиях, досконально знающий “правила игры”, прошедший многие десятки километров по ковровым дорожкам столичных “коридоров власти”.

6) Немаловажную роль при бессознательном выборе кандидата на роль Президента, т.е. символической фигуры, по отношению к которой масса будет воспроизводить инфантильные ритуалы, играет и сексуальный фактор. Ведь сексуальность и есть наиболее энергетически заряженный способ символического воспроизведения детских эротических переживаний на суррогат-объекте, заменяющем родителя. В современном российском обществе, глубинные пласты коллективного бессознательного которого формировались в условиях функционирования имперского мифа, ведущей является пассивно-страдательная, феминная составляющая эротического выбора массы, сформированная вышеописанной ситуацией детства,

проведенного в режиме негативного Эдипова комплекса. Мазохистская женственность российского электората, которая проявляется независимо от половой принадлежности конкретных избирателей, предполагает в качестве оптимального объекта ее удовлетворения символическую фигуру напористого агрессора-самца, сладостное подчинение эротическому насилию которого и составляет глубинную подоплеку первой, реформаторской стадии президентского управленческого цикла. И в то же время, в силу естественного механизма любовного переживания как идентификации с себе подобным человеческим существом, объект эротического выбора массы в нынешней России должен манифестировать и феминные, женственные черты (хотя бы в форме навязчивой жертвенности и сублимационной, творческой продуктивности).

Еще явно не настало время конкретно оценивать по данным параметрам психологические шансы на избрание уже появляющимся в политическом пространстве фигурам, претендующим на исполнение роли Президента; да эта задача явно выходит за рамки тематики данной аналитической записки.

Следует лишь отметить тот несомненный факт, что ныне властвующий Президент на момент своего избрания вполне адекватно вписывался во все вышеописанные роли, что и предопределило утверждение электоратом его на исполнение президентских социально-психологических функций. Важно также отдавать себе отчет и в том, что надеваемые на период предвыборной кампании психологические маски не должны прирасти к лицу политика, что частично произошло с действующим Президентом.

Что же касается предстоящих парламентских выборов, то на сегодняшний день по поводу их результатов вполне можно дать несколько однозначных политико-психологических прогнозов.

Данные, уже третьи по счету, выборы в высший законодательный орган России, проводимые в режиме лишь слегка ограниченной многопартийности, приведут к тому же результату, что и предыдущие попытки: они создадут расколотый надвое Парламент, фактически неспособный на принятие программных стратегических решений, а лишь эмоционально и зачастую непоследовательно реагирующий на сиюминутные события. И это не порок избирательной системы и не происки противников реформ. Просто мы получим то, что и должны получить - совершенно адекватную модель коллективного бессознательного российского общества, расколотого также на два мотивационных блока, ностальгический и адаптационный. И все попытки вырваться из данного политического тупика, сформировать некую “третью политическую силу”, заранее обречены на неудачу, поскольку психологически абсолютно не обоснованы.

Меньше всего шансов на предстоящих выборах, если они состоятся, имеют политические группировки, пытающиеся понукать российское общество к радикальной трансформации либерального (типа блока “Вперед, Россия!”), либо же консервативного толка. Либералы-западники никогда не будут править в стране, где слово “Свободен!” по смыслу означает: “А иди-

ка ты...". Реставраторы же нашего имперского социалистического прошлого пытаются сделать бессмысленными все наши страдания последнего десятилетия, что психологически настолько дискомфортно, что вызывает у массы однозначное отторжение (не считая, конечно же, маргинальных слоев населения).

Реальный расклад сил в будущем Парламенте определится через соотношение психологической адекватности запросам массы следующих трех реальный политических сил:

1) Новых имперцев, предлагающих национально окрашенную имперскую идеологию и играющих на усталости от реформ, проводимых в интересах достаточно узких групп элит. Из партий подобного типа, имеющих общероссийскую организационную базу, может быть пока названа лишь ЛДПР.

2) Мягких реставраторов, трансформировавших коммунистическую идеологию в рамках державного патриотизма и сменивших модель образа Врага с внешнего на внутренний. Традиционный лозунг "Экспроприация экспроприаторов" делает эту группу психологически чрезвычайно сильной, но раздробленность в ее стане позволяет четко видеть перспективу лишь партии Зюганова.

3) Патерналистов, так называемой "партии власти", вполне обоснованная уверенность которой на гарантированное избрание базируется на прецеденте С.Мавроди; избиратели просто психологически не в состоянии расстаться с людьми, которые подвергли их серьезным материальным лишениям под некие обещания.

Эффективное властвование в режиме баланса интересов данных трех реально значимых политических сил современной России, каждая из которых прочно укоренена в соответствующем неодолимом влечении коллективного бессознательного, возможно на относительно длительную временную перспективу при реализации следующих условий:

а) "Партия власти" сумеет консолидироваться на основе соглашения о персональном составе будущего Правительства, т.е. создать блок фракций и политических движений во главе не только с прошлыми и действующими, но и будущими вице-премьерами.

б) Если желание общественной стабилизации, естественное для "партии власти", подтолкнет ее на заимствование национально ориентированной идеологии из лагерей новой имперской и мягкой консервативной оппозиции. Это создаст основание не только для временных союзов и коалиций широкого спектра, но и для единства реакции всех властных структур России на некие чрезвычайные внутренние и внешнеполитические события.

в) Реальное подключение Президента к работе нижней палаты Парламента в своем естественном качестве, в роли символической фигуры, озвучивающей действующий политический миф. Это позволит, с одной стороны, постоянно корректировать социальную мифологию, ориентируясь на эмоциональную реакцию Парламента как микромассы, как модели

коллективного бессознательного нации. С другой же стороны, это будет способствовать консолидации законотворческой активности палаты на тех проектах, которые носят помимо прикладного также и символический характер, т.е. способствуют развертыванию в стране рациональной, предсказуемой модели властвования.

Определенную проблему представляет собой то немаловажное обстоятельство, что парламентские выборы предшествуют президентским. Это несомненно дает дополнительный шанс “партии власти”, но одновременно уменьшает поле возможных межклановых соглашений. Тем больше ответственности ложится на тех людей из “партии власти”, которые принимают решение о делегируемой фигуре кандидата на пост Президента от данной управленческой структуры, прохождение которого станет гарантией общественной стабильности вне зависимости от его личных качеств и биографии. Значимы тут лишь соответствие тем кодовым ролям, описанным выше, на которые коллективное бессознательное современного российского общества ответит гарантированной избирательной активностью, и личностная возможность воспринимать себя не в качестве великого человека, а как элемент сложнейшего социально-психологического механизма обеспечения общественной стабильности.

5. Анализ современного состояния коллективного бессознательного российского общества (весна 1995 года).

В заключение следует отметить несколько важнейших проявлений глубинных подсознательных процессов, определяющих собой российскую политическую жизнь, которые позволят нам насколько уточнить их социально-психологическую модель, сделанную на материале символического характера института президентской власти.

Анализ подобного рода делается на основе интерпретации массовой реакции, возникающей в обществе в ответ на некие раздражители, значение которых для коллективного бессознательного заранее известно из опыта психоаналитической работы терапевтического и прикладного характера. Поэтому та специфическая массовая реакция, которая будет типична в данный момент, позволит выяснить состояние первичных блоков коллективного бессознательного (например - энергетическое состояние бессознательного чувства вины), на основе которых строится мотивация рационального поведения людей. Полученная при этом информация позволяет сделать довольно-таки точный и долговременный политологический прогноз, поскольку тенденции трансформации ведущих блоков коллективного бессознательного носят устойчивый характер и проявляются в ограниченном наборе форм отреагирования.

Первым значимым событием для глубинной психологии России явилась чеченская война, итоги воздействия которой на коллективное бессознательное общества подводить конечно же рано. Но динамика изменения массовой реакции на подачу боевых действий в средствах массовой информации, а также - соотнесение анализа психологической реакции на чеченскую кампанию с отношением общества к родственному

символическому раздражителю, к юбилею победы над фашистской Германией, позволяет сделать некоторые выводы.

Второй символический материал, положенный в основание нижеследующий выводов, касается проблем русского населения Крыма и ситуации, касающейся раздела Черноморского флота.

Значимыми также представляются в данном аспекте массовые реакции на возникшую проблему фашистских организаций в России, а также - на окончание первого этапа приватизации и связанный с этим крах практически всех крупных финансовых проектов, целью которых было изъять в свою пользу денежные средства населения для дальнейших крупных их вложений в стране и за границей.

Полученные выводы вкратце, поскольку они выходят за границы обозначенной темы аналитической записки, можно выразить в виде следующих тезисов:

а) Общество оказалось психологически не готово к восприятию как имперской, так и национально окрашенной конфронтации. Достигнута некая точка равновесия, точкой выведения из которой как раз и может стать предвыборная кампания, за которой последует конфронтационный раскол. Поэтому психологически сомнения в необходимости проведения в стране длительной и напряженной кампании по переизбранию всех ветвей власти весьма и весьма обоснованы, хотя с точки зрения Конституции они недопустимы.

б) Отношение к проблемам Крыма и процедуре раздела Черноморского флота (лишь 2% респондентов заявляют о желании видеть этот флот российским) демонстрирует защитную блокировку роста национального самосознания. Снять демократический режим отстранения от проблемы психологической тяжести национальной ориентации, перестать вытеснять осознавание того факта, что именно Черное море есть зона психологических боев за русское национальное возрождение, что стать русским можно лишь конфронтационно строя отношения со славянским миром, и прежде всего - с Украиной, нация еще не готова. Как таковая она еще не сложилась в виде стойкой мотивации на сепарацию себя от соседних и родственных народов, а потому не стоит пока исключать возможности временной имперской реставрации с национально-патриотическим уклоном.

в) Отношение в обществе к фашистским организациям и организованной преступности настраивает, напротив, на оптимистический лад. Спокойная реакция коллективного бессознательного на данные проявления и явный провал попытки провоцирования массовой политической активности в связи с убийством В.Листьева показали приемлемость для социума тех форм групповой и национальной идентификации, которые лишь по причине постимперской социально-экономической структуры вынужденно носят криминальный характер.

г) Достигнут некий предел насыщения психики людей газетным текстом и телевизионной картинкой. Гласность наконец-то сыграла свою терапевтическую роль до конца; плюрализм подачи информации заставил

наконец самую читающую нацию в мире увидеть этот мир не глазами журналиста, а собственными глазами. А глаза эти видят не проблемы русских в Прибалтике, а реальные домашние заботы и треволнения. Отсюда мораль для политиков: пора спускаться в сферу бытовых интересов людей и там черпать их поддержку (пока пионер подобной активности - Г.Явлинский, выступающий в семейном телеканале).

д) И последнее. Коллективное бессознательное всегда структурировано, как уже неоднократно упоминалось, по модели “семейного романа”, соотнесено с опытом общения с родителями в раннем детстве. И та мощная общественная поддержка, которая была оказана матерям, насильно забиравшим своих сыновей с чеченского фронта, свидетельствует о весьма резкой инфантилизации общественной психики, наличии у массы стойких патерналистских ожиданий. Это явствует и из опыта стихийного массообразования людей, обманутых в таких ожиданиях и резко отнятых от кормила различного рода акционерных обществ. Избирательная кампания в подобных условиях превратится в соревнование по количеству молока в материнской груди партии или властной структуры, повлечет за собой череду “социально ориентированных” законов и указов Президента. Причем проиграет в ней тот, кто первый остановится в страхе ввергнуть страну в бездну суперинфляции.

Итак, вот он перед нами - проективный образ нынешнего российского коллективного бессознательного: отторгнутый от материнской груди младенец, исступленно сосущий соску-пустышку в виде различного рода экономических авантюр и социально-политических иллюзий. Психологический яд перестройки и гласности, бездумно воспринятый им в режиме партийного патернализма, уже рассосался в его крови и он мучительно выбирает: то ли под лозунгом “Грабь награбленное!” вернуться назад, к блаженной сращенности с материнской инстанцией государственного патронажа над личностью; то ли с криком “Наших бьют!” постепенно начать искать объекты, на которых он сможет агрессивно отреагировать полученную травму. Таков он и есть и другого нам не дано - просим любить и жаловать (а может даже и пожалеть!).

Санкт-Петербург
24 апреля 1995 года

Данная книга не поступала в продажу,
а распространялась в Думе,
Совете Федерации и службах Администрации Президента
как закрытый аналитический материал.
«Современная российская ментальность»,
М.: Российские вести, 1995, с. 90-130.

Детоубийство и нарциссизм

М. В. Ромашкевич

Инстинкт смерти, как писали З. Фрейд и М. Кляйн, присущ ребенку от рождения. Под влиянием внешних неблагоприятных факторов, которые в разной степени присутствуют постоянно в его жизни, этот инстинкт по проективному механизму превращается в страх ребенка быть убитым родителями, и в первую очередь матерью, поскольку все люди, имеющие отношение к новорожденному, для последнего являются матерью.

Поскольку показано, что психика появляется уже во второй половине беременности, то можно говорить об инстинкте смерти плода. При нормальном течении беременности первым фактором, «пробуждающим» влечение к смерти, являются роды. «Пробуждение» его происходит в виде проекции на мать: появляется страх быть убитым матерью во время родов. В случаях патологической беременности, вероятно, такими факторами могут быть все виды патологии, нарушающие комфортное состояние плода. Степень действия патологических факторов и родов на гомеостатическое, комфортное состояние плода, видимо, соответствует степени «пробуждения» инстинкта смерти.

Ребенок развивается под девизом преодоления страха смерти путем сознательного овладения своими психическими функциями. Это происходит на всех нарциссических стадиях развития: оральной, анальной, фаллической. Помогает ребенку в этом нарциссизм, базой которого является инстинкт самосохранения, развивающийся затем в Эго. Поэтому, решая нарциссические проблемы пациента, аналитик должен помнить, что за ними стоит инстинкт смерти.

Отражением этой проблемы на первом году жизни является формирование базового доверия к жизни, описанное Э. Эриксоном. То есть новорожденный, сталкиваясь с неблагоприятными факторами, как бы решает, стоит ему жить вообще или не стоит, стоит доверять этой жизни или лучше сразу уйти из нее. Науке известны случаи смерти в раннем детстве под воздействием сильных неблагоприятных факторов без всякой соматической патологии.

В этой статье я часто употребляю выражение «мысль новорожденного», «новорожденный думает» и т.п. Вероятно, можно сказать, насколько миф, сказка соответствуют реальности, насколько «мысль новорожденного» соответствует мысли взрослого. Это такой же гипотетический конструкт в психоанализе, как, например, психическая энергия. Употребление выражения «мысль новорожденного» (и даже «мысль плода») помогает нам, хотя бы на «мифическом» уровне, понимать психику ребенка. В любом случае у новорожденного наблюдается психические процессы, которые по мере развития превращаются в мысли.

Возвращаясь к вопросу базового доверия к жизни, можно предполагать, что ребенок, сталкиваясь с любым неудовлетворением своих потреб-

ностей матерью, думает следующим образом: «Зачем мать родила меня, если хочет убить?». В этом вопросе — источник амбивалентности и расщепления психики. Его неразрешенность ведет к хаосу в психике. А хаос на символическом уровне есть смерть.

Здесь я хочу остановиться на понятии детоубийства. В первую очередь оно означает не прямую угрозу физической смерти, хотя и это может быть, а все кризисы развития, нарушающие комфортное состояние ребенка и требующие напряжения его сил для их преодоления, что сопровождается отказом от принципа удовольствия в пользу принципа реальности. Это — и роды с адаптацией к новым условиям вне тела матери, и приучение к новым ритмам сна-бодрствования, кормление по расписанию, и овладение оральной агрессией при появлении зубов, и кризис воссоединения в фазе сепарации-индивидуации, и овладение анальной агрессией, и эдипов конфликт, и многое другое. Фактически — это любое неудовлетворение желания ребенка, любая задержка родителей в выполнении своих функций. А также это может быть действительное неумение, нежелание родителей заботиться о ребенке, нелюбовь, неприятие ребенка матерью в любом проявлении. Мать — это у же синоним любви, принятия ребенка, жертвенности ради него. Поэтому любое несоответствие матери своей роли воспринимается ребенком как нелюбовь, как угроза смерти. Исследованиями Р. Шпица доказано, что в стадии симбиоза с матерью ребенок не способен нормально развиваться, то есть жить психически, без ее любви. По логике ребенка, раз родители его родили, значит, они должны дать ему *все необходимое.* Если жизнь его «поманила», значит ее «обещания» не должны быть обманом. Под всем необходимым подразумевается потребность в росте, взросления, превращения детского нарциссизма во взрослое Эго. Речь не идет об удовлетворении всех безудержных желаний, исходящих из Ид. Избалованность, потакание будут так же задерживать развитие Эго, как и излишнее травмирование, фрустрирование.

Соответствие роли родителей предполагает способность родить ребенка не только физически, но и родить его психически. Поэтому вышеназванный базальный вопрос можно перефразировать: «Зачем родители создали меня физически, если не хотят родить психически?». Психическое развитие есть цель ребенка и проявление его инстинкта жизни.

Я исхожу из гипотезы, что ребенку присуще понятие цели от рождения, как присущ от рождения инстинкт жизни. «Логика цели» — одна из основ этого инстинкта. Бесцельность рождает хаос, потерю причинно-следственных отношений, что ведет к смерти или психозу.

В своих разработках концепции Самости Х. Кохут отмечает две наиболее фундаментальные сущности человека: «1 — потребность в организации, структурировании психики в связную систему Самости; 2 — потребность в разработке подкрепляющих взаимосвязей Эго с внешним миром, побуждающих и усиливающих энергетическую мощь, а также удерживающих в постоянном виде структурную связанность и сбалансированную гармоничность составляющих элементов Самости». Несколько

упрощая, можно сказать, что первая базальная потребность — в наличии жизненной структуры, а вторая — в ее поддержании, развитии и функционировании. Вторая потребность и обусловливает «логику цели», так как бесцельно иметь структуру, которая никак не функционирует. Вопрос «зачем?», направленный на определение наличия цели, — один из самых фундаментальных, потому что в нем спаяны жизнь и смерть.

И вот ребенок, задав себе этот базальный вопрос, ищет на него ответ. Конечно, форма этого вопроса и поиск ответа зависят от многих вещей: от относительной силы инстинктов жизни и смерти в самом ребенке от содержания конфликта на каждой стадии развития, от степени несоответствия родителей своей роли, от внешних обстоятельств. Поэтому каждый раз вопрос звучит не в той обобщающей форме, которую я привел, а по-своему в каждом конкретном случае. Я приведу один из вариантов — когда мать оставила ребенка одного на стадии сепарации-индивидуации. Переживая депривацию, ребенок задает вопрос: «Почему она меня бросила? Может быть, она меня не любит больше?». Если время отсутствия матери не превышало возрастного порога способности ребенка переживать фрустрацию, то даже если он и плакал в ее отсутствие, по возвращении матери и успокоении он ответит себе на вопрос: «Нет, мамочка меня любит. Просто ей надо было уйти». Таким образом, он легко нашел цель поступка матери. Если же мать отсутствовала дольше, чем ребенок был способен перенести, то сработала психологическая защита от чрезмерных чувств. Поэтому первоначальный вариант вопроса приобретает более грозный вид: «Раз мать бросила, значит, она хочет моей смерти, потому что без нее я жить не смогу. Зачем тогда она рожала?» Ребенок становится в шизоидно-параноидную позицию, описанную М. Кляйн. Острота угрозы смерти смещается на вопрос целесообразности. Происходит расщепление: «Непонятно, зачем она меня рожала, если хочет убить». Это расщепление защищает хрупкую психику ребенка от чрезмерного переживания страха смерти. Условно говоря, смерть заменяется психозом.

В неблагоприятном варианте развития, когда мать оставляет ребенка одного больше, чем он способен выдержать, могут быть принципиально два исхода. Если в ребенке преобладает инстинкт смерти, то шизоидно-параноидная позиция фиксируется и со временем переходит в психоз (либо в клиническом, либо в психоаналитическом смысле). Если же в ребенке преобладает инстинкт жизни, то он находит ответ на свой вопрос в поведении самих родителей: «Если они меня родили и хотят убить, значит им это зачем-то нужно. Значит, они исходят в жизни из своих целей. Значит, в жизни надо исходить из своих целей. Моя цель — быть любимым, получать все, что мне необходимо. Кто меня это может дать? Тот, кто меня может безусловно любить. А это могу только я сам». Это и есть нарциссизм, защищающий ребенка от влечения к смерти. В том, что ребенок нашел цель в таком непоследовательном поведении родителей, соединил вроде бы несоединимое, и есть проявление инстинкта жизни.

Примером такого развития личности являются беспризорные дети. С ранних лет, живя под угрозой смерти, они выработали защиту в виде мощного Эго. Известно, что эти дети взрослеют быстрее сверстников, живущих в более комфортных условиях. Интересно, что распространенным сюжетом их фольклора является тема «Мама, роди меня обратно!», «Ах, зачем меня мать родила!» Другой особенностью их личности является слабое развитие Супер-Эго. Причина этого в том, что, во-первых, при повышенной угрозе смерти эдипова стадия развития не может быть пройдена адекватно; во-вторых, родители не стали для них примером для подражания, поскольку сами нарушали морально — этические нормы в виде неадекватной заботы о своих детях.

То, что нарциссизм «прикрывает» влечение к смерти, показывает древнегреческий миф о Нарциссе. Нарцисс фактически покончил жизнь самоубийством, оттого что не смог соединиться с объектом любви — своим отражением в воде. В этом аналогия с мыслями ребенка: «Родители (мать) меня родили, но не хотят соединить со мной в жизни (эмоционально слиться в симбиозе), а без этого я не могу жить». Миф отразил вариант недостаточной нарциссической защиты от инстинкта смерти. Но благодаря этому нам стало понятно, зачем нарциссизм нужен человеку, от чего защищает. Можно сказать, что нарциссизм в каком-то смысле — архаичный вариант инстинкта жизни. При благополучном развитии он переходит в более зрелую форму — объектную любовь. При неблагополучном — фиксируется, так как при попытках отказаться от него инстинкт смерти грозит превысить инстинкт жизни. Говоря языком теории объектных отношений, нарциссизм есть регресс на симбиотическую стадию развития.

В разной степени выраженности нарциссизм присущ каждому человеку, При адекватной жизненным условиям степени выраженности он дает базовое доверие к жизни, когда и жизнь, и смерть «манят» ребенка каждая к себе.

Интересно, что З. Фрейд уделил большое внимание отцеубийству (в рамках эдипова комплекса), но практически не касался феномена детоубийства. Это можно понять. Когда начинается исследование какой-то новой области знания, открываются сначала наиболее яркие, видимые феномены. В этом плане феномен детоубийства можно сравнить с хронически висящим дамокловым мечом, с невыразительным фоном психического развития ребенка. Во-первых, из-за хронического характера он перестает замечаться; во-вторых, «видение» его вытесняется из-за большой степени травматичности. А феномен отцеубийства в этом контексте можно сравнить со вспышкой сверхновой звезды, ознаменовавшей рождение самостоятельной личности из небытия, вакуума, «из фона» детоубийства. Звезды открыты первыми поколениями астрономов, а вакуум — последующими.

С позиции нарциссизма отцеубийство (у девочки — убийство матери) — это победа над отцом, и она завершает нарциссическую фазу развития. Способность к отцеубийству есть некий критерий зрелости детского Эго,

формирующегося из инстинкта самосохранения. Она говорит о том, что уже сформировались способности к триадным объектным отношениям, что нарциссические защиты от страха смерти не нужны.

Вышесказанное относится к эдиповой стадии развития (стадии триадных отношений). Но я считаю, что феномен убийства родителя существует и раньше. В стадии сепарации-индивидуации (конфликт воссоединения) происходит убийство доэдиповой фаллической матери. В отличие от эдипова убийства здесь и сын, и дочь убивают мать, но она сочетает в себе качества обоих родителей.

Доэдипово убийство имеет много сходного с эдиповым: 1) в процессе индивидуации ребенок совершает много самостоятельных поступков, чем «убивает» мать в качестве всемогущей, всеопекающей. В результате он обретает чувство вины; 2) хотя сепарационная вина отличается от эдиповой, это тоже вина. И оба чувства вины вносят свой вклад в развитие Супер-Эго; 3) способность к победе над матерью, равняющаяся способности к победе над своей беспомощностью и зависимостью, является так же ступенькой в развитии Эго, как и эдипова победа; 4) оба варианта убийства родителя являются выходом из ситуации детоубийства. Детоубийство не только беспомощность, но и полное отсутствие индивидуального существования. До конфликта воссоединения не существует отдельного ребенка, есть пара мать — дитя, как писал Д. Винникотт. При сепарации ребенок убивает ту мать, с которой он симбиотически слит. Аналогично, при эдиповом убийстве родителя ребенок обретает сексуальную индивидуальность. И хотя это разные виды индивидуальности, в обоих случаях решается вопрос индивидуальности; 5) в эдиповом случае конфликт амбивалентности разрешается идентификацией с однополым родителем. Как писал З. Фрейд, это оральный способ решения проблемы (поглощением). Происходит и устранение конкурента, и обретение его качеств. В доэдиповом убийстве матери тоже можно увидеть оральный способ решения проблемы амбивалентности. Здесь происходит интроецирование материнских частей и их интеграция до степени константности внутреннего материнского объекта.
Я думаю, что при желании можно найти и больше сходств, но даже этих пяти достаточно, чтобы констатировать универсальность феномена убийства родителя на каждой стадии развития ребенка, сопровождающейся конфликтом амбивалентности. Происходит убийство родителя в старом его качестве и обретается возможность новых объектных отношений. При этом детоубийство подразумевает сохранение старых объектных отношений, задержку развития, фиксацию на какой-то стадии.

Для ясности терминологии под отцеубийством я буду подразумевать эдипово убийство отца сыном и матери дочерью, а под матереубийством — доэдипово убийство матери и сыном, и дочерью.

Поскольку до сегодняшнего дня нет единого мнения по поводу концепции инстинктов жизни и смерти, хочу остановиться на своем понимании этого вопроса. Одни авторы считают эти понятия равными или равнозначными сексуальному и агрессивному инстинктам. Другие полагают, что

инстинкты жизни и смерти — лишь философские, абстрактные понятия, о которых можно рассуждать теоретически, но нельзя применять практически. А есть авторы, занимающие промежуточное или эклектические позиции между этими полюсами точками зрения. Я считаю, что инстинкты, сексуальный и агрессивный, можно считать в психике «структурными», то есть «анатомическими» (если можно так выразиться), а инстинкты жизни и смерти — «функциональными», то есть «физиологическими». Исходя из этого, можно говорить, что структурный элемент психики, называемый агрессией, может функционировать и в русле инстинкта смерти (враждебная разрушительность), и в русле инстинкта жизни (недеструктивные формы агрессии).

Структурный элемент психики, называемый сексуальностью, может функционировать и в русле инстинкта жизни (размножение потомства), и в русле инстинкта смерти (безудержность и девиации сексуальности ведут к невозможности воспроизведения потомства).

* *
*

Для обоснования своих взглядов на феномены детоубийства, матереубийства и отцеубийства хочу обратиться к мифологии, дающей нам важный материал из «доисторических времен» и человечества, и человека.
Как начинается история жизни вообще? По древнегреческой мифологии изначально был только вечный Хаос. Он родил Землю (Гею). Она родила Небо (Уран). У Геи и Урана были дети — великаны, которых Уран в ужасе заключил в недра Геи. Гея уговорила детей восстать против отца и сын Крон (Хронос, Время) хитростью отнял у отца. По мифологии других народов из Хаоса родилось огромное яйцо, которое разделилось на Землю и Небо. Причем расстояние между ними сначала было очень маленькое, а их сын пустил между ними стрелу и разделил их окончательно.

Это фактически история зарождения ребенка. Первоначальный Хаос есть половая жизнь родителей до зачатия. Земля и Небо — родители будущего плода. Они соединяются в половом акте. Дети — великаны, которых Уран загонял в недра Земли, микроскопические сперматозоиды, входящие в матку при коитусе, но не оплодотворяющие яйцеклетку. Появление сына, разъединяющего Небо и Землю, — оплодотворение яйцеклетки, возникновение зародыша.

Роль Крона очень многозначна. Когда мужчина и женщина имеют сексуальные отношения в течение определенного времени, вероятность зачатия возрастает. Хитрость Крона — это совпадение времени коитуса с созреванием яйцеклетки. На время беременности мужчина частично теряет свое влияние на женщину. У примитивных народов он даже не может прикасаться к ней. Время беременности — это во всех отношениях период царствования Крона. Оно ограничено девятью месяцами.

Мы видим, что первое зарождение жизни связано с отцеубийством (Урана Кроном).

Далее древнегреческие мифы повествуют, что в наказание за отцеубийство жена Крона Нюкта (Ночь) родила ему целый сонм ужасных детей, в том числе Танатос (Смерть). Другая жена Рея (мать богов) родила детей — богов, в том числе Зевса (бога энергии, молнии).

В утробе над плодом властвуют Время и Ночь. Ночь символизирует внутриутробную темноту. В своем развитии плод проходит все стадии развития позвоночных животных: от рыб до человека. В разные сроки беременности он выглядит совершенно по-разному. Каждая стадия развития со временем заканчивается, то есть каждая форма плода «поедается временем». Дети Крона и Нюкты характеризуются как ужасные, возможно, потому что внешний вид плода на многих стадиях далек от человеческого.

Вторая жена Крона, Рея, родившая Зевса, по сравнению с другими богами древнегреческой мифологии, не имеет самостоятельной роли, символического значения. Есть только ее сюжетное значение — мать богов. Кроме того, бросается в глаза схожесть имен: Рея и Гея. Гея — мать зародыша, Рея — мать ребенка. Поскольку в реальности мать зародыша и мать ребенка — одно и то же лицо, видимо, этим объясняется и схожесть имен, и отсутствие самостоятельного значения одной из этих матерей.

Поскольку Крон глотал своих детей. Рея вместо маленького Зевса подбросила ему камень. Таким образом, родился первый бог, который потом, когда вырос, заставил Крона отрыгнуть других проглоченных детей. Так Зевс победил своего отца.

В том, что Зевс — бог энергии, заключен символический смысл энергии акта родов, которая прерывает 9-месячную власть времени над плодом. В рождении ребенка заключена смерть плода; Танатос — первая смерть, Зевс — первый ребенок у матери, открывающий дорогу младшим братьям и сестрам. Камень, подброшенный Реей Крону, — плацента.

Второй раз рождению ребенка сопутствует отцеубийство (Крона Зевсом).

Позже мы встречаемся с отцеубийством в цикле древнегреческих мифов о царе Эдипе. Ему надо было убить отца не только потому, что тот на него набросился. И не только с целью стать царем Фив. Но еще и для того, чтобы идентифицировать свое Я. До отцеубийства он был «никем», подкидышем, «без роду-племени». Незнание своих родителей и отсутствие определенного социального статуса символизируют отсутствие самоидентификации, то есть психического рождения. Это психическое рождение состоялось, когда Эдип убил отца Лая и получил социальный статус царя. Убийство отца с последующей женитьбой на матери происходит на фаллической стадии развития ребенка. Здесь наблюдается разрыв нарциссической симбиотической «скорлупы», ребенок становится способным к объектным отношениям, рождается психически как личность. В третий раз мы видим роль отцеубийства в рождении, на сей раз — личности (психическом рождении).

На всех трех этапах зарождения жизни над ребенком висит дамоклов меч детоубийства. Каждый ребенок вынужден убить отца. Нет альтернативы: жить, убив или не убив отца. Есть альтернатива: отцеубийство или детоубийство. Уран заключал детей в недра Земли, Крон проглатывал их, Лай убивал. Каждый из этих отцов конкурировал с сыном за право быть ребенком в смысле возможности удовлетворять прямо свои инстинктивные желания: Уран — сексуальные, Крон — оральные, Лай — агрессивные.

С философской точки зрения жизнь в процессе своего развития является постоянно изменяющейся структурой. Цена изменения структуры — приобретение все большего числа степеней свободы. Этапы жизни: плод — ребенок — личность — это хорошо иллюстрируют. Наличие у ребенка цели к психическому рождению есть проявление инстинкта жизни и противостоит инстинкту смерти. Отцеубийство и занятие ребенком места отца является тем действием жизненной структуры, которое ведет к цели, то есть к приобретению ею большего числа степеней свободы.

С клинической точки зрения важно видеть, какую большую свободу имеет зрелая личность по сравнению со взрослым по годам человеком, но оставшимся на архаичном нарциссическом уровне существования, не осмелившимся поднять руку на своего отца и постоянно живущим под дамокловым мечом детоубийства, психически оставшимся ребенком.

Для описания этого различия обращусь к символическому языку первобытной орды, поскольку знания о жизни архаичных народов, так же как мифы, дают нам информацию о нашем бессознательном. Это наше «доисторическое» прошлое, под которым можно подразумевать период развития ребенка до становления основных структур психики: Ид, Эго и Супер-Эго, и до появления сознания. А это и есть период нарциссизма — до 5–6 лет.

Психология первобытной орды, описанная Фрейдом, дает возможность понять бессознательное фаллического периода, когда идет борьба детей и отцов за власть. В терминах этой психологии зрелую личность можно охарактеризовать как сына, победившего своего отца, а незрелую нарциссическую личность — как ребенка, хронически живущего под страхом детоубийства.

Зрелая личность:	**Нарциссическая личность:**
1. Присуща индивидуальность, так как имеет значение, кто активно убивал отца, кто только наблюдал (Зевс выше других богов).	1. Низкое осознание своей индивидуальности, преобладание группового сознания (симбиотического)
2. Оформленность триадных объектных отношений, так как победитель выплеснул агрессию на отца, а любовь на мать.	2. Нарциссическая отгороженность от объектов, которые угрожают убийством, как отец.
3. Стремление быть удачником, героем — это психология победителя	3. Стремление быть неудачником, чтобы не быть конкурентом отцу.
	4. Пассивность,

отца. 4. Активность, инициативность, поскольку все инстинкты направлены вовне. 5. Преобладание инстинкта жизни над инстинктом смерти. 6. Оформленность гетеросексуального влечения из-за достижения гетеросексуальной цели (матери для сына).	безынициативность, ибо все инстинкты направлены вовнутрь. 5. Преобладание инстинкта смерти над инстинктом жизни. 6. Неоформленность гетеросексуального влечения из-за недостижения гетеросексуальной цели, возрастание вероятности замены ее другими целями.
Описанные характеристики больше относятся к индивидуальному функционированию. На уровне социального взаимодействия и мировоззрения отмечаются следующие особенности:	
7. Способность уважать группового, социального лидера, который прогнозируем, понятен, с него можно брать пример. 8. Стремление к социальным благам, достигнутым самостоятельно, в конкурентной борьбе. 9. Стремление к демократическим формам правления как к власти победивших детей, власти равных. 10. Научность мировоззрения, понятность жизненного устройства, предсказуемость течения жизни, поскольку ясны причинно-следственные отношения (убил отца — стал героем, приложил усилие — достиг цели) и прочувствована цельность жизни (в достижении сексуальной цели, рождении потомства). 11. Моральная значимость распределения жизненных благ и социальной оценки человека по реальным достижениям каждого члена общества (брат, непосредственно участвовавший в заговоре против отца, получает больше, чем не участвовавший брат).	7. Неспособность относиться к лидеру дружественно, ибо он — потенциальный убийца. Неспособность братье него пример лидерства, так как это чревато убийством. 8. Ставка на безусловные блага, дающиеся властями без конкурентной борьбы (например, социальные гарантии низкооплачиваемым слоям населения). 9. Стремление к тоталитарным формам правления как к власти вышестоящего отца. 10. Мистичность мировоззрения, непонятность жизненного устройства, непредсказуемость течения жизни, поскольку непредопределимо поведение импульсивного отца (когда и за что убьет, ударит, унизит) и недостижимо ощущение цельности жизни (недоступна мать, другие женщины, нет своей семьи и, естественно, рождения потомства). 11. Моральная значимость распределения жизненных благ и социальной оценки человека поровну, независимо от реальных достижений каждого (угнетаемые

	отцом братья все равны между собой).

Хочу подчеркнуть, что хотя вторая группа характеристик относится к общественной жизни человека, она является по своей сути психологической, а не социальной. Эти две группы черт присущи двум психологически разным людям вне зависимости от эпохи, уровня цивилизации, общественно — экономической формации и проч. Они существуют от рождения человечества до наших дней.

* *
*

В клинической части своей статьи приведу отрывки работы над сепарационными проблемами пациентки на 2-м и 3-м годах терапии. На 170-й сессии она рассказала, что вчера была у матери, чтобы отдать ей деньги (пациентка материально поддерживала мать). Посещение было коротким, пациентка чувствовала сильный дискомфорт при общении и ни разу не взглянула матери в глаза. Затем она рассказала сегодняшний сон: «У церкви стоят две мои подруги, у одной из них умерла мать. Она подходит ко мне и говорит, что я должна подойти к священнику и попросить его отпеть. В окно вижу батюшку по пояс, за ним в глубине церкви гроб. Захожу в церковь, гроб стеклянный, закрыт покрывалом. Священник далеко, и я одна. Удивляюсь, как он будет отпевать так далеко. Кто-то сбрасывает покрывало, и картина преображается. Я с гробом оказываемся не внутри церкви, а во дворе. Земля от падающего покрывала покрывается осенним снегом. Ужасно гадкое жизненное состояние. Подруги далеко, чувствую неприязнь к ним. Бросила взгляд на гроб. Знаю, что там женщина, чья-то мать, вроде бы — подруги. От подруг исходит зло, в смерти есть их вина, поэтому они сами не подходят. Священник остался в церкви, стоит в окне с отрешенным лицом, это старец. Сама церковь внутри серая, унылая, пустая. Всем своим видом батюшка не принимает мертвую. Я должна ее зарыть, только тогда он допустит меня к себе. Это пугает. Во сне пришло понимание всего, потом забылось».

В ассоциациях пациентка говорила: «У меня мелькнула мысль, что я сама похоронила свою мать. Потом я эту мысль забыла. Подруг во сне я “подставила”. У одной из них муж умер при странных обстоятельствах, все соседи подозревали ее в причастности к этому. Может я во сне не хотела признаваться в причастности к смерти своей матери? Тяжело, чувство вины, отвращение».

Пауза.

Я. Еще во сне Вы реализовали свое дневное желание бросить взгляд на мать, когда были у нее.

Она. Да, у меня было в тот момент тайное желание ее смерти, я боялась, что она увидит его в моем взгляде. (Пациентка не первый раз говорит о желании смерти матери наяву.)
Пауза.
Я. Осенний снег — что это?
Она. Это ноябрьский колючий снег. В ноябре родилась моя мать. Сейчас мне страшнее всего остаться одной. Одна — значит всех убила. Поэтому не люблю ездить к матери, она одна. Боюсь, что от нее это постигнет меня.
Пауза.
Она. Еще чего во взгляде — быть убитой. Мать часто говорила: «Убила бы тебя!». Она всю жизнь убивала во мне любовь, делала меня плохой, чтобы никто не любил. Я боюсь смотреть ей в глаза, как будто виновата перед ней. Как будто во взгляде мы увидим все, что чувствуем друг к другу.
Пауза.
Она. Я как будто потакаю разбойнику. Раз она всех убила, а я даю ей деньги, то эти деньги — на разбои. И в этом я виновата.
Я. Вы — соучастник разбоя, взгляд — сговор двух разбойников.
На этом сессия закончилась. Через четыре сессии пациентка сама вернулась к этому разговору:
Она. Я поняла, что взгляд — это сговор двух разбойников над телом убитого.
Пауза.
Я. Кто же убитый?
Она. Это ребенок. Мне ничего не приходит в голову кроме мысли, что это мой внутренний ребенок.
Я. Мать мучила, бросала Вас в детстве, а сегодня Вы даете ей деньги, как бы простив те мучения, мучения того ребенка, который страдал. Может в этом и состоит сговор двух разбойников?
Она. Это ужасно! (По ее эмоциональной реакции я понял, что это был инсайт).

Для пациентки ужасна ее вина за то, что живой, чувствующий, умеющий страдать ребенок умер. А остался жить холодный не страдающий нарцисс. Задолго до этого, на 126-й сессии, пациентка сказала: «Иногда уход — не слабость, а разум. Если жизнь — бочка с грязью, то, чтобы остаться человеком, надо умереть». Это открывает нам глубинное чувство вины за то, что она вообще живет. Выжив, она стала убийцей чувствующего ребенка, соучастницей матери в своем убийстве. Это доэдипова сепарационная вина, закладывающаяся на 2-м году жизни, в период сепарации—индивидуации, описанный М. Малер. Источником сепарационной вины является ощущение всемогущества, заставляющее ребенка брать на себя всю ответственность за то, что с ним происходит. Ощущение всемогущества является защитой от непереносимого чувства полной беспомощности ребенка перед родителями и неблагоприятным обстоятельствами в возрасте 1–2 лет.

На той же 126-й сессии пациентка рассказала, что с возраста 12 лет у нее есть мистический (как она сама назвала) страх зеркал. В 12 лет она боялась, что из зеркала выглянет покойник. В терапии она поняла, что

боялась увидеть покойником саму себя: «Я поняла, что у меня не страх смерти, а страх быть покойником. Моя аккуратность, чистоплотность, педантичность — это готовность умереть в любую минуту. Чтобы меня не пришлось раздевать и мыть, я всегда чистая и одетая для похорон. Чтобы не глумились над моим телом. Это очень стыдно. Вчера были мысли — не хочу ходить по улицам, потому что боюсь умереть».

В конце второго года работы я заметил, что после обсуждения темы смерти на сессиях у пациентки наступало улучшение, а если мы долго не говорили об этом, она чувствовала себя хуже. На 231-й сессии я сказал ей это. Она ответила:

— Я всегда знала об этом, в отличие, например, от ненависти к матери, которая для меня была открытием. И страха к смерти, по большому счету, я не чувствую. Тема смерти у меня совершенно отделена от эмоций... С другой стороны я играю в эти игры со смертью непонятно зачем. Далее в этой же сессии она сказала:

— Еще мне пришло в голову неприличное сравнение моих безмолвных игр со смертью с онанизмом — сам с собой получаешь удовольствие (пациентка часто говорит о себе в мужском роде).

Пауза.

— Если тебе не жаль расстаться с жизнью, от этого дух захватывает, почти как в экстазе. То же самое я чувствовала, когда в детстве одна гуляла по крышам. Это такой козырь! Тебя не «достанут», как бы ни старались. Человек покидает тело — и все. Вначале нет эмоций, мыслей, потом и самого человека.

На 224-й сессии пациентка сказала, что когда была в церкви, ощутила на себе грех детоубийства и хотела покаяться в нем батюшке, но не решилась.

Как каждый живущий под страхом детоубийства, пациентка стремится оправдать свою мать. Неоднократно она говорила о том, что никогда не переживала издевательств матери над ней как горе, а воспринимала это как призыв к тому, чтобы самой становиться сильнее. «Я должна быть благодарна матери за то, что она сделала меня такой сильной». Понятно, что «спасибо» за это можно говорить, только пока живешь в этом угрожающем мире. А когда во втором браке обстановка у нее перестала быть враждебной, эта «сила» и создала невротические проблемы. Говоря символами, оправдывая мать, пациентка оправдывает свою неспособность совершить «матереубийство». А говоря клинически, она оправдывает свою неспособность разорвать сильную симбиотическую привязанность к матери.

Эта привязанность к матери у пациентки настолько сильна, что сепарационные стремления ее на данном этапе формулируются не в виде мысли: «я уже достаточно взрослая, чтобы быть самостоятельной от матери», а в виде предсознательной тенденции: «я бы никогда не расставалась с матерью, если бы она не была такой жестокой со мной. Даже расставаясь с ней из-за ее жестокости, я сожалею, что делаю это».

На 154-й сессии она говорит:

— Сам факт, что у меня есть мать — это очень хорошо. Пусть будет любая, любит она меня или нет. На 164-й сессии:
— Пусть лучше мне за мать будет стыдно, чем это будет что-то другое, что хуже стыда. На 222-й сессии:
— Я не доверяю себе, чтобы не думать плохо о матери. Моя гуманность не знает границ. Любому ребенку, даже в сорок лет, хочется сказать что-то хорошее о своей матери.
На 224-й сессии:
— Знаете, как в детстве ребенок думает: если мать к нему плохо относится, то он стыдится себя и думает, что он такой плохой, что собственная мама к нему так плохо относится.

Последняя выдержка является защитным ответом на базальный вопрос «Зачем мать меня родила, если делает мне так больно (хочет убить)?» Этот вопрос повергает в состояние полной детской беспомощности. Он же является главным содержанием нарциссической травмы. Ранимость нарцисса обусловлена не силой «удара», а объектным источником. Тот, кто должен защищать (мать), не должен ранить. Мать ранит не столько силой «удара», сколько фактом нанесения «удара».

Нарциссическая травма всегда настолько сильна, что требует очень сильной защиты. Одной из таковых является сплитинг (расщепление), который присутствует у пациентки. При том, что она говорила на 154-й, 164-й, 222-й, 224-й сессиях, на 163-й сессии она говорит следующее:
— Ой!.. Волосы встали дыбом от сладострастного чувства убийства матери. (По ее эмоциональной реакции при этих словах я понял, что это был инсайт.)
На первом году жизни пациентка страдала от физического травмирования матерью, а в конце первого года тяжело пережила очень травматичную сепарацию с матерью. Эта сепарация воспринималась ею как детоубийство. Поэтому сейчас стремление к сепарации с матерью воспринимается ею как попытка убийства матери, а нахождение в состоянии симбиоза с матерью 197 как состояние «хронического детоубийства». Это видно из мистического страха увидеть себя в зеркале покойником и из последующего сравнения себя с зомби. Как в мистических рассказах и фильмах зомби кусают людей и превращает их этим в зомби, так пациентка на 256-й сессии говорит о страхе говорить мне многие свои мысли, чтобы я ими не «заразился» и не стал таким же, как она.

Через полгода после сна о смерти матери появилась тенденция захоронить гроб (с телом матери). На 236-й сессии у пациентки было видение по типу грез:
— Театр, я одна в зале, на сцене актеры играют спектакль. По воздуху прилетают гробы, актеры ложатся в них, гробы закрываются крышками и улетают. Но полностью не могут улететь, я отправляю их со сцены усилием воли и думаю, что одной крышки мало, надо каждый забить второй крышкой, тогда они улетят окончательно. Чувствую себя неловко.

На 262-й сессии она рассказала мне, что впервые смогла не молча выслушать беспочвенные упреки матери (от которых раньше очень

страдала), а высказать в ответ ряд своих упреков ей. Если первым шагом на пути взросления было понимание всей садистической беспочвенности материнских упреков (что произошло в начале второго года работы), то появление способности ответить на них было вторым шагом на этом пути (в начале третьего года работы).

На 265-й сессии пациентка рассказала сон о свежезакопанной могиле, который значил для нее то, что она захоронила, наконец, свою мать. Интересно, что между этими двумя снами (о смерти матери и о захоронении ее) прошло ровно девять месяцев.

Параллельно процессу умертвления матери шел процесс оживления пациентки из состояния зомби. На 257-й сессии — сон о захоронении семьи (отец, мать, ребенок), где она сама была их каменным надгробьем в виде сфинкса. На 267-й сессии — сон о фотографиях расстрелянной семьи, где она узнала себя, своих родителей и свою дочь. На 277-й сессии она поняла причину своего «окамененного нечувствия», когда мы обсуждали впечатлившую ее фразу из книги «Моисей окаменел, чтобы не вылить свою страсть». Она почувствовала себя живой и страстной под каменным панцирем зомби. На 289-й сессии — уже сон, где родители были зомби, а она живая и спасается от них. На 303-й сессии — сон, где она замороженная во льду, лед начал таять, она начала шевелить руками и пытается выбрать из него.

Ее оживлением можно считать 311-ю сессию, на которой она впервые за 2,5 года нашей работы смогла сказать мне впрямую о своих переносных положительных чувствах ко мне «здесь и сейчас». На 332-й сессии она рассказала сон о вновь посаженных и зазеленевших молодых деревьях на газоне перед ее окном, где раньше был вытоптанный пустырь.

Ее оживление было похоже на рождение тем, что сразу же возникли оральные проблемы. На нее нахлынуло такое количество эмоций, которое она не была еще способна «переварить». Самым «трудноперевариваемым» было чувство любви ее дочери к ней, поскольку раньше она знала только одно чувство дочери к матери — ненависть. На принятие любви ушло много времени. Это был настолько трудным период для нее, что он сопровождался психосоматической симптоматикой со стороны пищеварительной системы. Однако в целом это был положительный процесс, принесший ей смещение либидо с себя на внешние объекты и улучшение отношений в семье и в других межличностных контактах. На языке объектных отношений это было интроецирование позитивных частей материнского объекта для структурирования и константности внутреннего образа матери.

Объем журнальной статьи не позволяет мне подробно остановиться на вопросах переноса, контрпереноса, на технических аспектах работы. Поэтому я лишь кратко назову основные моменты. В переносе сосуществовали, не соприкасаясь (расщепленно), идеализация терапевта и желание моей смерти. В своем контрпереносе я пережил массу тревог пациентки и, насколько мог, «контейнировал» их. Работа с такими пациентами невозможно в рамках классической техники, так как интерпретации защит, страхов, тревог

пациента будут для последнего преждевременными, пока терапевт сам не переживет их вместе с пациентом. В. Бион писал, что аналитик должен уметь «контейнировать» тревогу пациента, если она очень глубинна. Преждевременные интерпретации воспринимаются пациентом как неспособность аналитика переносить эту тревогу и истолковываются первым примерно так: «Когда я увижу, что ты сам можешь переносить то, что переживаю я, только тогда я поверю, что ты способен мне помочь». Здесь же замечу, что для пациента с эдиповым уровнем проблем этого не требуется и интерпретации без переживания в контрпереносе будут вполне своевременными. Об использовании контрпереноса как необходимом компоненте психоаналитического процесса впервые заявила П. Хайманн.

В заключение подчеркну две основные мысли: 1) феномен убийства родителя в развитии ребенка возникает не на «пустом» месте, а на фоне «хронического детоубийства»; 2) на каждом этапе развития ребенку необходимо решать антагонистическую дилемму — убийство родителя или детоубийство. Уход от нее решения на самом деле есть выбор в пользу детоубийства.

На клиническом примере я показал, как в случае решения этой дилеммы на стадии сепарации — индивидуации в пользу детоубийства формируется нарциссический тип проблем.

Российский психоаналитический вестник,
1994, № 3–4, с. 39–51

Частные психиатрические лечебницы и санатории и начало психотерапии в России

И.Е. Сироткина[1]

Социальное пространство психиатрии

Мишель Фуко дал яркое описание образа жизни альенистов — психиатров начала прошлого века, которые руководили общественными приютами для душевнобольных: окруженные пациентами как короли слугами, они походили на на феодалов [2]. В конце прошлого века статус психиатров изменился: приюты превратились в больницы, а врач становился сродни государственному служащему. В то же ремя стали во множестве возникать частные лечебницы для богатых клиентов; процветала частная практика. Оказавшись более зависимыми от своих пациентов, психиатры конца века иначе, чем альенисты, строили свои взаимоотношения с больными, придерживаясь более индивидуального подхода к лечению и подчеркивая терапевтическую ценность близких отношений между персоналом и пациентами в клинике. Эти изменения совершались на фоне теоретического развития психиатрии, в частности, возникновения концепции психогенеза душевных болезней и особого метода их лечения — психотерапии. Санатории и частные клиники как нельзя более подходили для организации в них психотерапевтических мероприятий, тогда как большие общественные психиатрические больницы были местом медикализации психиатрии. Несмотря на то, что врачи частных клиник и санаториев редко непосредственно участвовали в теоретических дискуссиях, их стиль лечения подготовил почву для возникновения психотерапии. Моей задачей будет взглянуть на частные клиники и санатории как на учреждения, благодаря которым было создано социальное пространство для возникновения психотерапии, а следовательно, и для новых концепций личности, получивших распространение в психологии XX века.

В 1828 г. немецкий врач Х. И. Лодер открыл в Москве (во Втором Ушаковском, ныне Хилковом переулке) “заведение искусственных минеральных вод”, где до 125 пациентов лечились не только водами, но также прогулками, музицированием, чтением и беседой. Москвичи видели пациентов Лодера постоянно праздными, прогуливающимися в саду; с тех пор знакомое всем слово “лодырь” — немного измененное имя владельца заведения — вошло в русский язык. То, что предлагал немецкий врач — лечение отдыхом, покоем, беседой, — то есть будущая психотерапия, сначала было отмечено в сознании русского человека как несерьезное, пустое занятие. Тем не менее, всего несколько десятилетий спустя общественное мнение стало настолько благосклонным, что в Москве в конце XIX века

[1] Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного фонда.

[2] M. Foucault. Histoire de la folie a lбge classique. Paris, 1972.

открылось 40 частных психиатрических лечебниц и санаториев[1]. В основном они были рассчитаны на привилегированную и состоятельную публику, однако в начале века возникли идея “народных санаториев”, подобных открытому в Германии в 1900 г. Haus Schqnow, а также другие проекты организации психотерапевтической помощи небогатым людям.

Но дела в России движутся медленно. Только в 1830 г., после двух лет хождения по инстанциям, доктору медицины и хирургии Ф.И. Герцогу удалось открыть первую в Москве частную психиатрическую лечебницу. В 1831 г. в лечебнице находилось восемь человек: шесть мужчин и две женщины[2]. В частых лечебницах один служитель приходился на 1-2 больных, медсестра — на 4-7 больных, врач осматривал 10-14 пациентов, а в палате находилось не более двух человек. Это делало наказания и меры стеснения — цепи, смирительные камзолы — ненужными, хотя они еще долгие годы применялись в общественных больницах[3]. В правилах предписывалось «с призреваемыми вообще обходится возможно более кротко», а для развлечения «доставлять им приличные занятия». Если обыкновенно московская публика имела обыкновение приходить в дома умалишенных поглазеть на больных, то в частной лечебнице посещение публики не дозволялось.

Преемники Герцога (среди которых были самые известные московские психиатры — С.С.Корсаков, В.П.Сербский, Н.Н. Баженов) сняли решетки с окон, открыли двери лечебницы. Так называемая система нестеснения не только дала больше свободы и комфорта пациентам, но о создала лучшие условия для наблюдения за больными. Большее разнообразие ситуаций, в которых оказывался больной, давало возможность изучать индивидуальный случай во всем многообразии проявлений. Корсаков заметил: если условия психиатрической больницы унифицируют пациентов и позволяют врачу обобщать клинический опыт, то более разнообразные условия содержания в частных клиниках дают возможность наблюдать случаи, которые в массе пациентов больших госпиталей могли бы остаться незамеченными. Не случайно клиника Герцога была первым психиатрическим заведением, в котором появились «скорбные листы» — истории болезни пациентов.

Частные лечебницы выглядели менее пугающе, что и обеспечило их успех у москвичей: в 1886 г. в Москве было 7 частных клиник, с более чем 170 местами для пациентов (всего в России, вместе с московскими, насчитывалось 13 лечебниц; в них помещалось около 400 больных, что, конечно, было лишь малой долей от общего числа призреваемых в домах

---

[1] Щиголев И.И. История московских частных учреждений для душевнобольных XIX, начала XX столетия // Социальная и клиническая психиатрия. 1992. 4. С. 90-96.

[2] ЦГИАМ, ф. 1, оп. 1, д. 3141, л. 83.

[3] Так, С.С. Корсаков, прийдя в 1871 г. после окончания Университета в городскую Преображенскую больницу, услышал от старого и уважаемого врача: «В университете ведь вас мало учили психиатрии; вы, вероятно, даже не знаете, как связывать», — и первый его урок был урок связывания (Эдельштейн А.О. Сергей Сергеевич Корсаков. М., 1948., с. 5).

умалишенных, примерно 6-7 %)[1]. Между 1887 и 1907 гг. в Москве было открыто 17 новых частных заведений для нервно- и душевнобольных и алгоколиков, рассчитанных на более чем 300 пациентов, а в следующее десятилетие (с 1907 по 1917) — еще 18 лечебниц и санаториев, с более чем 350 мест[2].

В 1870-80-е гг. психиатрия сложилась как профессия и отдельная университетская дисциплина; к концу века все крупные университеты в России имели кафедры или хотя бы курсы психиатрии. Увеличилось число выпускников-психиатров, которым нужны были новые места работы, новые амплуа. Это время, отмеченное политическими реформами в России, было благосклонно к психиатрии: в существующих губернских больницах были учреждены новые койки, во многих губерниях старые дома умалишенных перестроены в соответствие с современными требованиями; кое-где открылись новые больницы. В них находили работу те выпускники кафедр психиатрии, на долю которых выпало превратить мрачные заведения в возможно сносные лечебные учреждения[3].

Светские монастыри

Новым полем деятельности для молодых психиатров стала работа в частных лечебницах. В 1911 г. из 266 специалистов примерно одна треть работала в лечебницах (44 врача) или была занята частной практикой (37 врача). Большинство (27 и 34 соответственно) работали в Москве, наиболее богатой потенциальными клиентами[4]. Расцвет частных лечебниц требовал идейной разработки этого, в общем-то, нового для русской психиатрии дела. В 1886 г. лидер московских психиатров С.С. Корсаков, врач одной из старейших частных клиник — бывшей лечебницы Герцога, — сделал в Кружке невропатологов и психиатров при Психиатрической клинике Московского университета доклад «Об устройстве частной лечебницы». Он говорил о том, что частные лечебницы отличаются от общественных не только и не столько большим комфортом и лучшим уходом за больными, но также «особым строем, который почти невозможен в общественных заведениях, и который оказывает благоприятное действие на душевнобольных»[5]. Этот строй — семейный характер лечебницы, который и дает ей многие психологические преимущества. Подобно тому, как в семье

---

[1] Дома умалишенных в империи. Приложение к Списку статей свода законов, сенатских указов и правительственных распоряжений, качающихся быта умалишенных в России. Спб.: Изд. Медицинского департамента МВД, 1886.

[2] Подсчет производился мною по источнику: Щиголев, op. cit., с. 92-95.

[3] Юдин Т.И. Очерки истории отечественной психиатрии. М.: Медгиз, 1951.

[4] Довбня Е.Н., Розенштейн Л.М. Первый съезд Русского Союза психиатров и невропатологов. Отд. отт. из Журнала невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 1911, т. 5-6. М., 1911. С. 132.

[5] Корсаков С.С. К вопросу об устройстве частных лечебниц// Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1901. 1, с. 938-939.

«заботы и мысли одного члена о другом... дают душе содержание, и не дают чувствовать душевной пустоты», семейный характер отношений в лечебницы способен лучше заполнить время больного и поддержать «здоровые свойства его души».

Для того, чтобы в лечебнице существовало подобие семейных отношений, утверждал Корсаков, необходимо присутствие женщины. Женщина составляет центр этого общежития, так как может войти во все детали жизни больного и оказывать ему те мелкие услуги, которые так сближают с человеком, и на которые у врача, как правило, нет времени. Объединяющую роль женщины в лечебнице Корсаков, видимо, открыл на собственном опыте: в лечебнице, где он директорствовал долгие годы, эту благотворную роль играла владелица клиники, М.Ф.Беккер. Она пережила Корсакова, став советницей и товарищем его преемника В.П. Сербского[1]. С «бабушкой русской психиатрии», как называли эту женщину в среде московских врачей, охотно общались и психиатры следующего поколения, например, П.Б. Ганнушкин (известны его письма Марии Федоровне, которые он писал во время своих отлучек из Москвы). Мужчина-врач — глава такой «семьи»; и персонал, и больные смотрят на него как на руководителя, так что «обыкновенно даже небольшое внимание врача ценится больным очень высоко»[2].

Корсаков рекомендовал организовывать отдельные лечебницы для душевнобольных и для нервнобольных. «Нервными» в то время называли очень разнородную группу: от страдающих эпилепсией, истерией, нейрастенией — так называемыми общими неврозами, органическая основа которых не была в точности известна, — до пациентов с «расшатанными нервами», переутомленных, раздражительных. Именно в этом, широком, смысле, употреблял это слово профессор неврологии Московского университета В.К. Рот, когда выступал за открытие санаториев для нервнобольных: «Редкий из нас может похвастаться тем, что не страдает или не страдал тем или другим неврозом. Каждый из нас может не нынче-завтра обнаружить ряд неврастенических или истерических симптомов, повышенную впечатлительность, утомляемость, заболеть мигренью, головной болью и т.д.»[3].

“Нервной” была названа сама эпоха *fin de siècle*. Журналисты и психиатры признали неврастению болезнью эпохи, убеждая публику в том, что психика современного человека страдает под напором цивилизации. Неврастения стала модой, — даже Гамлет был признан “неврастеником”[4]. В

---

[1] Осипов Н.Е. (1930) Корсаков и Сербский // Сборник в память 175-летия Московского университета. Париж, 1930, с. 405-426.

[2] Корсаков, op. cit., с. 940.

[3] Рот В.К. Общественное попечение о нервнобольных. Устройство общественных санаторий. Киев: Тип. С.В. Кульженко, 1907, с. 5.

[4] Б-р В.М. “Гамлет” Шекспира с врачебно-психологической точки зрения (“Скорбный лист” его душевного состояния) // Архив психиатрии, неврологии и судебной психопатологии. 1987. Т. 30. № 2. С. 107.

определенном смысле, дух времени играл на руку психиатрам. Дело в том, что согласно действующему в России с начала XIX века законодательству о душевнобольных, таковыми признавались “безумные” (больные с младенчества) и “сумасшедшие” (болезнь, приключившаяся в течении жизни и представляющая опасность для общества и самих больных)[1]. Тем не менее, за пределами этой дефиниции оставалось много болезней, находившихся, как полагали психиатры, все же в их компетенции. Категория же нервных болезеней позволяла госпитализировать тех, кого в “желтые дома” не принимали.

В лечебницы для нервнобольных пациентов с психиатрическими диагнозами, как правило, не принимали (исключение допускалось лишь в том случае, если помещение позволяло содержать их отдельно от других больных). Это делалось не только для того, чтобы обеспечить оптимальный режим для больных, но и для привлечения пациентов: в глазах публики лечебницы для нервнобольных были ближе к обычным больницам и выглядели поэтому менее пугающими, чем дома умалишенных. Круг их клиентов был максимально широк: сюда входили выздоравливающие после душевных заболеваний, некоторые случаи неполного выздоровления, периодических психозов, общих неврозов и слабовыраженных психоневрозов, а также психопатические конституции, случаи привычного злоупотребления наркотиками, психического истощения после соматических заболевания, умственного и общего нервного переутомления[2]. Лечебницы и санатории для нервнобольных предоставляли своим пациентам более свободный режим; их целью было, по словам Корсакова, развивать нормальные интересы больного. Руководство ими требовало поэтому иных личных и профессиональных качеств, чем руководство лечебницей для душевнобольных[3]. Рост общего числа частных клиник на рубеже веков был связан, главным образом, с открытием заведений для нервнобольных; к ним относились санатории, амбулатории для приходящих посетителей и стационарные лечебницы.

Один из первых санаториев в России — санаторий “Бережки” для нервно- и душевнобольных — был открыт в 1887 г. в Подмосковье доктором А.А. Яковлевым и приват-доцентом Московского университета А.А. Токарским. Примерно в это же время было основано заведение М.Я. Дрознеса в Одессе, в котором уже к 1891 г. была накоплена статистика, позволющая судить о высоком числе случаев выздоровления[4]. На рубеже

---

[1] Список статей свода законов, сенатских указов и правительственных распоряжений, качающихся быта умалишенных в России. Спб.: Изд. Медицинского департамента МВД, 1886.

[2] Яковлев А.А. Санатории для нервнобольных и их ближайшие задачи. М.: Тип. Кушнерова, 1902, с. 5.

[3] Корсаков, op. cit., с. 944.

[4] Дрознес М.Я. Основы лечения нервных и душевнобольных в частных лечебницах. С приложением описания частной лечебницы для нервно- и душевнобольных доктора М.Я. Дрознеса в Одессе. Одесса, 1891.

веков было открыто несколько загородных лечебниц: лечебница А.М. Коровина для алкоголиков (1898), М.Ю. Левенштейна для алкоголиков, нервно- и душевнобольных (1901), М.Ю. Лахтина для нервно- и душевнобольных (1904-05) и др. После 1905 г . наступила “эра санаториев”: открыты санатории “Надеждино” (1905, врач Н.Ф. Пупышев)[1], “Сокольники” (1906, врачи С.Б.Вермель и Н.В. Соловьев)[2], “Всехсвятский” (1908; врачи — Н.Е. сипов, П.Б. Ганнушкин, А.С. ер и др.), “Подсолнечный” (1912; врачи М.М.Асатиани, И.П.Лобанов, И.Е.Поляков), санаторий для душевнобольных, алкоголиков и наркоманов П.И. арпова и А.П. Ратнер (1913), санаторий “Крюково” для нервных и переутомленных (до 1912 г.) и другие[3]. Война, а затем революция, остановили этот организационный всплеск.

Одним из главных целебных эффектов помещения в лечебницу считалось удаление из привычной домашней обстановки. В сочетании с режимом, движением на свежем воздухе, усиленным питанием, которое было особенно необходимо истощенным больным, лечебным трудом, сама по себе изоляция уже давала положительные результаты. Русские психиатры особенно ратовали за организацию загородных санаториев, так как условия деревенской жизни максимально приближены к природным, позволяют закаливание организма — хождение босиком в летнее время, воздушные и солнечные ванны, здоровый стол[4]. Следуя природе, нужно было изгонять из лечебниц “суетливость” городской жизни и присущие ей развлечения — пикники, массовые прогулки, любительские спектакли с участием больных и т.п. Корсаков советовал при устройстве частных лечебниц “избегать роскоши... потому, что роскошь вообще принадлежит к ненормальным явлениям жизни”, а психиатрия не может поощрять ненормальное[5].

В санаториях широко назначались физиотерапевтические процедуры: электротерапия, ванны, массаж, морские купания (в санатории Дрознеса в Одессе), минеральные воды, лечение кумысом, кефиром и даже виноградным соком[6]. Однако, главное место отводилось “психическому воздействию опытного врача”[7]. Автор одной из первых программных статей о санаториях, А.А. Яковлев, утверждал, что эффект лечения “будет прямо пропорционален обширности психиатрического опыта врача, его способности завоевать авторитет и симпатии со стороны больных, его таланту в той области психотерапии, которая известна под термином *suggestion a la veille*, и, наконец, степени его знакомства с психической личностью его пациентов”[8].

---

[1] ЦГИАМ, ф. 1, оп. 2, дело 2889.

[2] ЦГИАМ, ф. 1, оп. 2, дело 2989.

[3] Щиголев, op. cit., с. 94.

[4] Яковлев, op. cit., с. 11.

[5] Корсаков, op. cit., с. 947.

[6] Дрознес М.Я. Частная лечебница (санатория) для нервных и душевнобольных доктора М.Я. Дрознеса в Одессе. Одесса, 1902, с. 11.

[7] Рот, op. cit., с. 5.

[8] Яковлев, op. cit., с. 8.

Клиники и санатории, как правило, находились в изолированных от городской суеты местах, часто за городом. Жизнь клиники или санатория носила особый характер жизни в сообществе, "семье"; одним из самых существенных моментов было личное влияние психиатра. Эта особенность санаториев помогла развиться определенной философии, согласно которой врач лечит своей личностью, своим взглядом на болезнь, а не электризацией или ваннами. Жизнь в санатории лучше удовлетворяла потребности больного в свободе, самоуважении, лучшем лечении, но она же давала врачу возможность искать свои пути в психиатрии, "уйти от мира" официальной медицины чтобы развивать собственные концепции или не развивать никаких, веря в эффективность собственной личности. Такая изолированность (недаром один из первых сторонников санаториев, немецкий врач П.Ю. Мебиус называл их "светскими монастырями"[1]) способствовала тому, что именно в санаториях и загородных клиниках вызревали новые концепции психотерапии: так, суггестивная психотерапия была придумана французским психиатром И. Бернхеймом в его клинике в Нанси, рациональная терапия — в санатории П. Дюбуа в Берне.

Теоретическая неразборчивость — залог успеха?

В конце прошлого века психиатрия располагала целым рядом психотерапевтических методик, от гипноза и внушения до катартического метода и рациональной терапии. Термин "психотерапия" первоначально был синонимом внушения, а затем стал обозначать любой психологический метод терапии. Ввели этот термин голландские врачи Ван Ээден и Ван Рентергем, последователи А. Льебо и И. Бернхейма, психиатров из Нанси, которые первыми стали лечить психических больных "внушением в бодрственном состоянии". 1880-е годы были эпохой безраздельного господства гипноза, который парижское светило того времени, Ж.-М. Шарко, считал болезненным состоянием организма, свойственном, главным образом, больным истерией. Нансийская же школа, в пику Шарко, считала, что гипноз, который она предпочитала называть внушением, — это естественный процесс, и может быть вызван у здоровых людей.

Возникшая между Шарко и нансийцами дискуссия разделила психотерапевтов на два лагеря, каждый из которых отстаивал либо гипноз, либо внушение уже не как различные методы, а как разные версии психотерапии, из которых верная — только одна. Когда были предложены другие варианты психологического лечения — например, рациональная терапия П. Дюбуа (убеждение больного с помощью рациональных аргументов, что его болезнь — плод воображения, не имеет органических причин и т.п.) — стало общепринятым говорить уже не о методах, а о направлениях в психотерапии. Так, вместо того, чтобы признать

[1] Ступин С.С. К вопросу о народных санаториях для нервнобольных // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1904, № 3, с. 367.

рациональную терапию еще одним терапевтическим методом, могущим быть полезным наряду с пропагандируемым им внушением, Бернхейм стал сетовать на то, что Дюбуа “аннексировал” психотерапию, отобрав у него лавры отца-основателя[1].

Наконец, в самом начале XX века П. Жане, И. Брейер и З. Фрейд начали спор о приоритете в открытии катартическиго метода. Вскоре Фрейд создал то, что называется собственно психоанализом, и повел сознательную борьбу против других методов психотерапии — в частности, гипноза и “рациональной терапии” Дюбуа. В это же время заявила о себе как особом направлении “ценностная”, или “философская”, терапия: один из ее приверженцев, польский психиатр А. Яроцкий, озаглавил свою книгу “Идеализм как физиологический фактор”, противопоставив поиск высших ценностей как способ лечения интенсивно идущей в те годы медикализации психиатрии. Итак, на протяжение каких-то двух десятилетий значение термина “психотерапия” круто изменилось: психотерапия — единый метод “лечения духом” — раздробилась на множество психотерапий, — конкурирующих между собой путей понимания и лечения психогенных заболеваний.

Врачи в российских клиниках и санаториях, казалось, были далеки от этих теоретических дискуссий и споров о приоритетах. От участия в них русских психиатров удерживала не только их провинциальность, географическая удаленность от европейских центров психиатрии, но и сознательно занятая ученическая позиция. Русские университеты традиционно посылали своих выпускников в Европу завершать образование, и многие будущие психиатры стажировались у Шарко, Бернхейма, Дюбуа, Блейлера, Фрейда и других западных звезд. Выжидательная позиция по отношению к бушевавшим на Западе дискуссиям, консервативность диктовались практической направленностью работавших в частных лечебницах и санаториях врачей. Ставя на первое место принцип “не повреди”, они доверяли испробованным средствам больше, чем какой-либо новой концепции. Даже когда психоанализ полностью захватил умы современников, русские врачи вовсе не обратились в веру Фрейда, как это принято сейчас представлять. Рациональная психотерапия, по крайней мере, безвредна, — так думали, вместе с детским психиатром О.Б. Фельцманом, большинство его коллег- практиков[2].

Новое поколение психиатров, разделяя современные взгляды на классификацию душевных болезней, уже не объединяло “переутомленных” вместе с больными эпилепсией в одну категорию нервнобольных. По сравнению со статьей А.А. Яковлева (1902), статья Н.А. Вырубова (1910) выглядит вполне современно: автор придерживается деления на “большую” и “малую” психиатрию; последняя, занимающаяся психогенными

---

[1] Ellenberger H. The Discovery of the Unconscious. The History and evolution of Dynamic Psychiatry. New York: Basic Books, 1970, p. 804.

[2] Фельцман О.Б. К вопросу о психоанализе и психотерапии // Современная психиатрия. 1909. 1. С. 269.

заболеваниями, и составляет область применения психотерапии. Тем не менее, в вопросе о методах лечения Вырубов вовсе не склонен изобретать велосипед, предпочитая испытанные временем: изоляцию больных от привычной обстановки, особый уклад жизни в лечебнице, а также "дружеские, чуждые официальности отношения между всеми лицами, работающими в санатории, и больными". Он упоминает и современные терапевтические методы: "внушение в бодрственном и гипнотическом состоянии, метод Брейера и Фрейда, метод Дюбуа и их модификации", но считает, что проводить один метод в лечебнице столь же неосуществимо, сколь и нежелательно[1]. Сам Вырубов был далек от методологического пуризма: в его санатории "Крюково", где лечились представители интеллектуальной элиты (С. Соловьев, А. Блок, Е. Вахтангов[2]), владелец готовил "лекарственную смесь" из многих терапевтических методологий, включая психоанализ и религию: еще и сейчас можно встретить вещи из санатория с христианской и психоаналитической символикой[3].

Многих врачей частных лечебниц, как и Вырубова, можно было бы назвать эклектиками: они не стеснялись комбинировать психоанализ и рациональную терапию даже тогда, когда эти две школы вступили в открытую теоретическую борьбу. Московский психиатр Н.Е. Осипов, со-издатель (вместе с Вырубовым) журнала "Психотерапия", обосновывал это сочетание тем, что каждая из концепций дополняет другую: психоанализ, например, восполняет недостаток анализа, которым страдает рациональная терапия[4]. С его точки зрения, оба метода преследуют общую цель — вырастить "духовного человека". Оба адресуются душе человека, его ценностям и нравственному чувству, потому и являются равноправными методами в распоряжении психотерапевта.

То, что вследствие дискуссий между школами приобрело вид отдельных теорий, вовсе не выглядело таким для практиков, часто затруднявшихся в разграничении случаев применения того или иного метода в чистом виде. Одним из самых убедительных критериев принятия или отвержения той или иной концепции было то, берет ли данная концепция в расчет душу больного, обращается ли к его внутреннему миру, ценностям, нравственности, или же видит в больном, как традиционная медицина, безотвественного перед своей болезнью, превращая его в пассивный объект воздействий. Именно такой взгляд давал основание отнести психоанализ и рациональную психотерапию к "этико-философской психотерапии", нацеленной на то, чтобы побудить больного к самопознанию, к поиску своих ограничений и возможностей, к ясности и честности перед самим собой[5].

---

[1] Вырубов, op. cit., с. 4.

[2] Эткинд А.М. Эрос невозможного. История психоанализа в России. Петербург, 1993, с.158.

[3] В.И. Овчаренко, устное сообщение.

[4] Осипов, Н.Е. Беседа с Dubois // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1910. N 5-6. С. 1781.

[5] Осипов Н.Е. О навязчивой улыбке // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С.

Итак, врачи частных лечебниц не проводили жестких границ между разными психотерапевтическими концепциями не потому, что такие границы еще не сложились в ходе теоретических дискуссий, борьбы школ, манифестации разных направлений. Эклектизм практиков был вызван поиском ими любых методов, которые могли бы оказаться эффективными. Методологическая неразборчивость имела свою обратную сторону — создание философии психотерапии. Сколь будничной эта философия не представлялась бы в сравнении с броскими теоретическими дискуссиями, пожалуй, именно она в наибольшей степени заслуживала названия психотерапии — с акцентом на последнюю часть этого слова. Эта философия легла в основу организации лечебниц и санаториев.

Культивирование в них тесных “семейных” отношений между персоналом и пациентами, создание духа общежития, сообщества, отвечало потребностям как больных, так и их врачей.

Широкое распространение санаториев и лечебниц для нервнобольных в дореволюционной России — практическое тому доказательство. О значении специфического санаторного уклада жизни для психиатрии в целом, в том числе для ее теоретического развития, говорит та популярность, которую психотерапия, родившаяся в лечебницах и санаториях, приобрела в нашем столетии.

Корсакова. 1912. N 4. С. 578.